ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ

НАДТОЧИЙ В. Д.



ОХОТА НА ВАРНАКА

18+

Владислав Надточий

Государевы люди. Охота на Варнака

«Автор»
2026

Надточий В. Д.

Государевы люди. Охота на Варнака / В. Д. Надточий — «Автор», 2026

Кто такой Варнак? Почему он оставляет свидетелей? И зачем неуловимый преступник сам заманивает сыщиков в ловушку?Российская империя, 1909 год. Дерзкое нападение на почтовый поезд. Двое убиты. Похищены казённые деньги и секретные списки агентов охранки. Но это лишь первый ход в тщательно продуманной игре.Его называют Варнак. Никто не знает его настоящего имени и лица. Он виртуозно меняет внешность, обманывает лучших сыщиков и проникает туда, где хранятся самые опасные тайны империи. Каждое его появление оборачивается новым преступлением, а каждая улика может привести к гибели.Жандармский ротмистр Григорий Ведерников начинает охоту. Но вскоре понимает страшную истину: Варнак не скрывается. Он сам выбирает, кто и когда выйдет на его след.«Охота на Варнака» — захватывающий исторический детектив о преступном гении, предательстве и смертельном противостоянии двух умов.Охота началась. Но кто станет добычей?

© Надточий В. Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Государевы люди. Охота на Варнака 6
Часть первая. Чужое лицо 6
Глава 1. Почтовый вагон 6
Глава 2. Ротмистр 11
Глава 3. Следователь 16
Глава 4. Неустановленное лицо 22
Глава 5. Хитровка 27
Глава 6. Засада 33
Конец ознакомительного фрагмента. 39

Владислав Надточий
Государевы люди. Охота на Варнака

Надточий В. Д.

Государевы люди. Охота на Варнака

Часть первая. Чужое лицо

Глава 1. Почтовый вагон

В ночь с девятнадцатого на двадцатое июня 1909 года почтальон Дмитрий Сыромятников, девятнадцати лет от роду, впервые держал в руках государственную тайну.

Тайна была серая, в два пальца толщиной, перевязанная бечёвкой крест-накрест. Пять сургучных печатей, синих, с двуглавым орлом и мелкими буквами по краю. Адрес короткий: «С.-Петербург, Фонтанка, 16. В собственные руки». Обратного адреса нет.

Дмитрий служил на почте второй год и всё ещё не привык, что он здесь свой.

На Московский почтамт его взял Лукин. Взял почти с улицы: после того как в позапрошлом году отец, тверской сапожник Савелий Сыромятников, известный в Твери мастер, ослеп от катаракты, а потом и помер, не дождавшись операции, мать продала мастерскую и перебралась с Дмитрием в Москву, к сестре, на Плющиху. Сестра сдавала угол. Мать стирала по домам. Дмитрий, окончивший четыре класса городского училища с похвальным листом, полгода носил по Тверской-Ямской чужие чемоданы и покупки, а по вечерам переписывал набело прошения для одного стряпчего, по копейке за лист.

Лукин был с отцом знаком. Тридцать лет он заказывал у Савелия сапоги — по паре раз в два года, когда приезжал в Тверь, — и ни разу не жаловался на работу. Узнав, что Савелий помер, он сам пришёл на Плющиху, в угол, где жили мать с сыном, сел на табуретку под иконой, выпил чаю, посмотрел на Дмитрия долго, поверх очков, и сказал:

— Почерк покажи.

Дмитрий показал. Лукин посмотрел и сказал:

— Хороший почерк. Ровный. Без завитушек. Завитушки человек ставит, когда хочет, чтобы его заметили. А почтальону не надо, чтобы его замечали. Почтальону надо, чтобы замечали письма. Приходи в понедельник на Мясницкую, к восьми.

В понедельник Дмитрий пришёл к семи. Лукин уже был там.

Он научил его всему. Как принимать мешки по ведомости и как пломбировать. Как отличить денежное письмо по весу, не вскрывая. Как спать сидя, чтобы просыпаться на каждой станции. Как разговаривать с конвойными, чтобы они не задирались, и с начальством, чтобы оно не замечало. И как смотреть на людей. Последнему он учил больше всего.

— Смотри на руки, Митя, — говорил он. — Лицо человек может сделать какое хочешь. Лицо врёт. А руки не умеют. Руки всегда делают то, к чему привыкли. Купец считает пальцами, даже когда молчит. Офицер держит руку у бедра, где шашка, даже когда он в штатском. Вор берёт всё щепотью. А барин берёт всё так, будто ему подают.

Дмитрий запомнил наставление Лукина на всю жизнь. Отец, пока был жив, говорил мало, всё больше молотком. А Лукин говорил, и каждое слово у него было как гвоздь, вбитый точно в нужное место.

Вечером девятнадцатого июня мать собирала его в дорогу дольше обычного. Положила в узелок два яйца и луковицу. Потом долго стояла у двери и смотрела, как он надевает фуражку.

— Ты что, мама?

— Ничего. — Она поправила ему воротник. — Сон мне снился. Отец твой снился. Будто сидит в мастерской, шьёт, а сапоги у него белые. Никогда у него белых сапог не было. Я спрашиваю: кому это, Савушка? А он говорит: Мите. В дорогу.

— Это к деньгам, — сказал Дмитрий. — Белое к деньгам.

— Белое к покойнику, — сказала мать. — Ты уж там, Митя. Ты уж смотри.

Он посмеялся, поцеловал её в щёку, сухую и шершавую от щёлока, и побежал на конку. Яйца он съел по дороге, от досады, что мать его расстроила. Луковицу оставил.

Он ехал на конке по Тверской-Ямской, держась за поручень, и думал о том, что Лукин обещал к осени похлопотать о прибавке, на три рубля в месяц, и что на эти три рубля можно будет снять у сестры не угол, а комнату, и мать перестанет стирать хотя бы по субботам.

Пакет принесли за десять минут до отправления.

До этого вечер шёл как всегда. Николаевский вокзал гудел, толкался и пах жареными пирожками. Носильщики в белых фартуках волокли чемоданы к скорому петербургскому. Купчиха в трёх шалях звала потерявшегося мопса. Гимназисты на каникулах спорили про аэропланы Райта. Где-то на дальней платформе играл военный оркестр: кого-то провожали в полк.

Почтовый вагон стоял в самом хвосте седьмого ночного, там, где кончался навес и начинались лужи. Зелёный, приземистый, с облупившимся орлом на борту и решётками на окнах. Дмитрий принимал по ведомости мешки с письмами, кидал их на полки и всё ждал, когда кончится погрузка, чтобы сбегать в буфет за булкой. Луковицу доставать при конвое было стыдно.

Булка не случилась.

По перрону, расталкивая носильщиков, шёл жандармский поручик. Молодой, лет двадцати пяти, в голубом мундире и с портфелем под мышкой. За ним едва поспевал унтер с револьвером на шнуре. Лицо у поручика было розовое, девичье, а губы побелели: должно быть, всю дорогу он их кусал.

— Старший по вагону?

Из глубины вагона вышел Фёдор Игнатьевич Лукин. Он был стар, сух, с аккуратной седой бородкой и в очках, которые носил на самом кончике носа. Тридцать два года на почтовой службе, две медали и ни одной пропажи. Про него говорили, что он видит письма насквозь и всегда знает, где внутри деньги, а где любовная дурь.

— Я.

— Принимайте. По распоряжению Департамента, обычным порядком, вместе с денежной почтой.

Лукин взял пакет, повернул к свету и поднял глаза поверх очков.

— Обычным порядком, ваше благородие, синий сургуч у нас не ездит. Синий сургуч ездит с курьером.

— Я сказал: по распоряжению. — Поручик вытащил из портфеля книгу и раскрыл её на колене. — Распишитесь. Здесь. И вот здесь, во втором экземпляре.

Лукин расписался дважды, неторопливо, без единой завитушки, как расписывался на всех бумагах тридцать два года подряд. Поручик захлопнул книгу и не ушёл. Стоял и смотрел, как пакет исчезает в глубине вагона.

— Конвой у вас сколько?

— Двое, ваше благородие. Как всегда.

Поручик кивнул, собрался заговорить, но промолчал. Потом резко повернулся и пошёл обратно, но у водокачки остановился. Он оставался там, пока поезд не тронулся. Дмитрий видел из окна его фигуру, голубую и неподвижную, до самого поворота.

— Не нравится мне это, — сказал над его ухом унтер-офицер Хвостов, старший конвойный. — Когда начальство вот так вслед смотрит, жди беды.

Хвостов был из ярославских крестьян, весёлый, румяный, с георгиевской ленточкой за Мукден. Служил он в конвойной команде второй год и мечтал о месте объездчика в имении князей Голицыных, где кормят дважды в день с мясом.

— Разговорчики, — бросил Лукин, не оборачиваясь. — Сыромятников, прими пакет по ведомости.

Дмитрий принял и не удержался, повертел в руках.

— Не верти, — буркнул Лукин. — Клади в сундук и забудь. Наше дело везти.

Сундук был окованный, привинченный к полу, на двух замках. Один ключ Лукин носил на цепочке рядом с нательным крестом, второй лежал в кармане у Хвостова. В сундуке уже лежали три мешка денежной почты Московской казённой палаты: сто сорок две тысячи рублей с копейками. Отец Дмитрия, тверской сапожник, таких денег не заработал бы и за триста лет. Но деньги Дмитрий возил уже трижды, и они давно стали для него просто грузом, строчкой в ведомости.

А серый пакет с синими печатями не давал покоя всю дорогу.

За Клином стемнело, но только чуть-чуть. В июне ночи под Тверью такие, что читать можно и без лампы. Лампу всё равно зажгли: так полагалось по инструкции. Она моталась под потолком и коптила.

Рядовой Гусев, рябой и лупоглазый, играл сам с собой в шашки на перевёрнутом ящике. Играл сосредоточенно, но победить самого себя никак не удавалось.

— Чёрные хитрят, — пожаловался он Дмитрию. — Я за белых как подумаю, а чёрные уже знают.

— Так они ж тоже ты.

— Вот и обидно.

Хвостов дремал сидя, зажав винтовку между колен. Лукин писал в ведомость, и перо у него скрипело в такт колёсам. Дмитрий сидел на мешках и смотрел на сундук.

— Фёдор Игнатьевич. А вас грабили когда-нибудь?

Лукин не поднял головы.

— Дважды пытались. В девяносто восьмом цыгане под Клином, пьяные, с топорами. Их конвой положил из окна, не сходя с места. И в шестом году боевики. Мальчишки, гимназисты. Один с бомбой в коробке из-под конфет. Бомба не взорвалась, а мальчишка заплакал. Я его чаем поил, пока жандармов ждали. Повесили потом.

Перо скрипнуло и замерло.

— Раз уж спросил, слушай правила. Первое: дверь в пути не открывать никому. Хоть сам царь постучит. Второе: если влезли, не геройствуй. Деньги казённые, а голова твоя. Третье…

Третьего он сказать не успел. Поезд стал тормозить.

Дмитрий почувствовал это спиной. Шашки Гусева посыпались на пол. Лукин достал часы, щёлкнул крышкой.

— Рано. До Твери вёрст двенадцать.

Поезд дёрнулся и встал. Впереди шипел паровоз. В траве у насыпи скрипел коростель — сухо, настырно, как гребёнка под пальцем.

Хвостов проснулся, растёр лицо и встал у двери.

— Разъезд, что ли. Встречный пропускаем.

Встречный не шёл. Минута, другая. По гравию вдоль состава захрустели шаги, неторопливые, рабочие. Затем в дверь постучали: два коротких, один длинный.

— Почтовый, отзовись! — крикнули снаружи. — У вас букса горит, вторая тележка! Дайте фонарь, наш потух!

Из-под пола тянуло гарью — кислой, масляной. Дмитрий потом узнал, что под вагоном просто жгли тряпку с мазутом. Но тогда гарь была самая настоящая.

Лукин посмотрел на Хвостова. Тот пожал плечами. Правило первое: дверь в пути не открывать. Но про горящие буксы в правилах не было ни слова, а вагон с горящей тележкой мог вспыхнуть вместе с сундуком, печатями и тридцатью двумя годами безупречной службы.

— Глянем, — решил Лукин. — Сыромятников, фонарь.

Хвостов отодвинул засов и приоткрыл дверь на ладонь. В щель тут же сунулось лицо: усатое, скуластое, в фуражке с молотком и ключом на околыше. Путеец как путеец, таких на каждой станции сотня.

— Слава богу, живые, — улыбнулся он. — Простите, что тревожу, господа.

Об этой минуте Дмитрия потом расспрашивали следователь, жандармы и чиновник с бархатным голосом. По ночам он вновь возвращался к ней сам. И всякий раз спотыкался об одно слово. Путейцы не говорят «господа». Они говорят «братцы» или «ваше благородие». А этот сказал «господа», легко, с усмешкой, как со сцены.

Хвостов тоже почуял неладное и потянул дверь назад. Не успел. В щель просунулся ствол, и выстрел в тесном вагоне оглушил Дмитрия. Хвостов медленно сел на пол и привалился плечом к сундуку. На лице у него было удивление, и больше ничего.

Дверь отъехала настежь. Внутрь полезли трое в серых армяках, картузы надвинуты на глаза. Гусев вскинул винтовку, и Дмитрий успел подумать: сейчас, вот сейчас он их… Два выстрела слились в один. Гусев упал навзничь, на свои шашки. Лукин рванулся к сундуку, и ему заехали рукоятью в висок. Старик рухнул на стол и опрокинул чернильницу. Чернила поползли по ведомости, по цифре сто сорок две тысячи.

Дмитрий не сделал ничего. Потом на допросах он всякий раз ждал, что его назовут трусом. Никто не назвал. Такие люди никому не оставляют времени. Он сидел на мешках с письмами, а фонарь в его руках ходил ходуном, и тени плясали по стенам. В голове вертелось только недосказанное стариком: «Третье…»

Путеец вошёл последним. Отряхнул колено, огляделся, как в чужой гостиной, присел возле Хвостова и вытащил у него из кармана ключ. Вытер кровь о полу шинели. Второй ключ снял с шеи Лукина вместе с крестом, взвесил крест на ладони и аккуратно положил старику обратно на грудь.

— Свети, — бросил он через плечо. — Сюда, на замок. И не трясись, мешаешь.

Дмитрий посветил. Руки у путейца были белые, холёные, с длинными пальцами. Гаечного ключа они в жизни не держали. Замки щёлкнули. Один из армяков, коренастый, с белым шрамом на затылке, потащил мешки с деньгами к двери и стал передавать их наружу, в чьи-то руки. Путеец даже не обернулся на них. Он сунул руку на дно сундука и вынул серый пакет.

Повертел его под фонарём, пересчитал печати, провёл ногтем по краю. И улыбнулся по-новому: так улыбаются письму от старого знакомого.

— Потолстел, — сказал он. — В прошлом году был тоньше. Растём.

— Барин, — окликнул из двери коренастый. — Старик дышит. И сопляк вон глазами хлопает. Кончить?

Дмитрий перестал дышать.

— Нет, — сказал путеец, не поворачивая головы. — Уговор был: солдат не трогать, если не стреляют. Уговор нарушили вы. Дальше его нарушать не будем.

Коренастый хмыкнул и исчез. Путеец сунул пакет за пазуху и повернулся к Дмитрию.

Они оказались лицом к лицу. Пахло от путейца не табаком и не мазутом, а чем-то сладким и спиртовым. Так пахло за кулисами тверского театра, куда Дмитрий мальчишкой носил актёрам починенные отцом сапоги. Усы рыжеватые, брови тёмные. На скуле, у самого уха, край кожи чуть отстал и блестел, как слюда.

Глаза светлые, почти прозрачные. Любопытные.

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать, — выдавил Дмитрий.

— Хороший возраст. Я в девятнадцать играл Хлестакова в Вышнем Волочке. Плохо играл. Слишком верил, что я ревизор. Тебя спросят, как я выглядел. Спросят много раз и строго. Расскажи всё как есть: рыжие усы, скулы, фуражка. Ничего не выдумывай. Понял?

Дмитрий кивнул.

— Не понял. — Путеец наклонился ближе. — Запомни меня, мальчик. Только правильно запомни. Того, кого ты сейчас видишь, завтра не будет. А ты будешь. Вот и вся разница.

Снаружи коротко свистнули. Армяки посыпались на насыпь. Путеец поправил фуражку, задержался на мгновение в проёме и шагнул в белую ночь.

Сколько Дмитрий просидел на мешках, он не помнил. Минуту. Может, десять. Потом он вспомнил второе правило: «Деньги казённые, а голова твоя». И он вскочил.

Хвостов был мёртв. Дмитрий понял это сразу, по глазам, и всё равно потряс его за плечо. Гусев лежал на спине, и в его кулаке была зажата чёрная шашка. Хитрая, которая всё знала наперёд.

Дмитрий высунулся из двери. Насыпь была пуста. Вдалеке, у края леса, стучали копыта, и стук быстро глох. Под вагоном дотлевала мазутная тряпка. Вот тебе и букса.

С паровоза кто-то бежал, спотыкаясь и матерясь. Машинист, чёрный от угля, с разбитой губой.

— Живые? У меня на разъезде красный огонь стоял! Я тормознул, а они ко мне в будку с револьвером. Кочегара моего связали. А потом один прибегает и говорит: вези, дядя, в Тверь, там станция, там доктор. И пять рублей дал! Пять рублей, понимаешь ты!

Он разжал кулак. На чёрной ладони лежала синяя пятирублёвка, сложенная вчетверо.

— Вези, — сказал Дмитрий и сам не узнал своего голоса. — Вези скорее.

Поезд тронулся. Распахнутая дверь хлопала на стыках. В вагон тянуло скошенным сеном и дымом. Дмитрий намочил водой из фляги платок и приложил к виску Лукина.

Старик застонал и приподнялся на локте. По щеке у него текла кровь пополам с чернилами. Очки слетели, и без них лицо сделалось голым и чужим. Он посмотрел на Хвостова, на Гусева, на пустой сундук. На деньги не взглянул.

— Пакет?

— Взяли, Фёдор Игнатьевич.

Лукин нашарил на груди крест и стиснул его в кулаке. За дверью проплывали спящие деревни с белыми колокольнями.

— Тогда, Митя, нас с тобой уже нет, — сказал старик тихо, почти ласково. — Деньги нам простят. А за такие бумаги не прощают.

— Вы третье правило не сказали.

Лукин посмотрел на него долго, подслеповато, без очков.

— Третье, — сказал он. — Когда придут спрашивать, смотри, кто спрашивает. И о чём. Воры спрашивают про деньги. А если кто спросит про пакет, тот и есть хозяин.

Тверь встретила их тишиной. На перроне дремал жандармский унтер в белых перчатках, зевал носильщик, по лужам ходили галки. Машинист дал три длинных гудка, один за другим, и галки взлетели разом.

Унтер проснулся, подошёл к почтовому вагону и заглянул в распахнутую дверь. Лицо у него стало серым.

— Святы угодники…

На платформе поднялась суматоха. По платформе бегали люди. В дежурной комнате стучал телеграф. Принесли носилки для Лукина, и старик, прежде чем лечь, потребовал свои очки. Очки нашли под столом, с треснувшим стеклом. Начальник станции, в фуражке поверх ночного колпака и в ночной рубашке, кричал, чтобы никого не выпускали. Из поезда, впрочем, никто и не выходил. Пассажиры спали и даже не знали, что поезд останавливался.

Дмитрия посадили в комнату дежурного и дали чаю. Он держал жестяную кружку обеими руками и смотрел из окна на свой вагон. Солнце поднялось над Волгой и осветило зелёный борт. На подножке что-то блестело.

Он вышел, никем не замеченный, и присел на корточки. На второй ступеньке, у самого края, темнело маленькое клейкое пятно размером с двугривенный. В нём застряли два рыжих волоска.

Дмитрий потрогал пятно пальцем, понюхал. Сладко и спиртово. Кулисы.

Он сходил в буфет, взял чистый стакан и аккуратно накрыл им пятно. Зачем, он и сам не знал. Просто надо было хоть что-нибудь сделать. В вагоне он не сделал ничего, и это жгло больше, чем страх.

Вернувшись в комнату дежурного, он сел и стал повторять про себя, шёпотом, как урок: рыжие усы, тёмные брови, скулы, светлые глаза. «Господа». Хлестаков. Вышний Волочёк. Белые руки. Шрам на затылке у коренастого. Пять рублей машинисту.

Запомни меня, мальчик.

Он запомнил.

Глава 2. Ротмистр

Ротмистр Григорий Петрович Ведерников уже два года спал плохо. С тех пор как похоронил жену.

В ту ночь он не спал вовсе. Лежал одетый поверх одеяла и смотрел в потолок, где от сырости проступило пятно, похожее на карту Квантунского полуострова. Порт-Артур был в углу, у карниза. Дальний правее, у лампы. Оба города давно были японскими, а пятно всё расползалось, и Ведерников не давал хозяйке его забелить.

За ночь дворник четыре раза прошёл мимо окон. Дважды прогрохотал ломовой извозчик. Один раз под окном пели пьяные студенты, про то, как горела весна. Ведерников отмечал каждую мелочь. Привычка осталась с Маньчжурии: замечать, запоминать, сопоставлять. Когда считаешь, не думаешь.

В половине седьмого в дверь постучали — тяжело, с долгими паузами. Так стучал только один человек на свете.

— Ваше благородие, к полковнику. Велено немедля.

Ведерников открыл. Вахмистр Панкратов стоял на площадке, занимая её целиком: широкий, усатый, с седым ёжиком над низким лбом. Мундир плотно обтягивал широкие плечи.

— Что стряслось?

— Не могу знать. — Панкратов помолчал и добавил тише: — Только у подъезда две пролётки департаментские. И адъютант из министерства курит. Злой.

Ведерников нашарил сапоги.

Панкратову было пятьдесят четыре. Тверской уроженец, сын жандармского унтер-офицера, ходившего ещё в Хивинский поход. Тридцать лет под ружьём и в полиции, из них четыре года городовым на Хитровке, остальные в корпусе. По спискам он числился за Тверским губернским жандармским управлением, но третий год был прикомандирован к Ведерникову в Петербург. Ведерников сам его выпросил, после одного дела в Калязине, где вахмистр голыми руками вынес из горящего амбара сундук с динамитом. Потом сел на него и закурил.

Панкратов умел по одним пролёткам у подъезда понять больше, чем иной ротмистр по секретному циркуляру. И если департаментские пролётки стояли у штаба корпуса в седьмом часу утра, значит, случилось такое, о чём в Департаменте полиции предпочли бы не знать вовсе.

Шли пешком. От Кирочной до Фурштатской — десять минут ходу, да и извозчика в такой час не сыщешь. Город был пустой и розовый, как всегда в июне. Дворники поливали мостовую из шлангов, и камни парили. У Таврического сада молочница гнала двух коз, и одна уставилась на Ведерникова жёлтым глазом, как старая сваха.

— Говорят, под Тверью почтовый взяли, — сказал Панкратов, глядя на козу. — Ночью. Конвой положили.

— Кто говорит?

— Извозчики на бирже. Им телеграфисты сказали, а телеграфистам — бог знает кто. Тверская линия с пяти утра гудит.

Ведерников промолчал. Ограбление почты было делом полицейским, в крайнем случае судебным. Жандармов звали, когда грабили не ради денег. В пятом и шестом году таких налётов было по три в неделю: эсеры, максималисты, анархисты, грузинские боевики. Революционные кассы пухли от казённых рублей, а ротмистры корпуса считали трупы и писали рапорты, которых никто не читал. Последние два года стало тише. Ведерников надеялся, что насовсем.

— Ваше благородие, — сказал Панкратов, когда они свернули на Фурштатскую. — Вы опять не спали.

— С чего ты взял?

— Сапоги с вечера не чищены. А вы их всегда на ночь чистите, если ложитесь.

Ведерников посмотрел на сапоги. Потом на вахмистра.

— Вот потому я тебя и держу, Панкратов.

— Так точно, — согласился вахмистр без тени улыбки.

У штаба корпуса и правда стояли две лакированные пролётки. Кучера спали. На крыльце адъютант министра внутренних дел, гвардеец с нафабренными усиками, жадно затягивался папиросой, не замечая, как длинный столбик пепла осыпается на мундир. Увидев Ведерникова, он бросил окурок и наступил на него каблуком.

— Ведерников? Наконец-то. Вас ждут с пяти часов.

— За мной послали в половине седьмого, — сказал Ведерников и прошёл мимо.

Полковник Сергей Андреевич Глинский принял его не в кабинете, а в комнатушке за ним. Там стояли кожаный диван, на котором полковник иногда ночевал, и вечно горячий самовар. На стене висела карта Маньчжурии, исчерканная карандашом, и портрет старухи в чепце. Мать, думали все. Ведерников однажды случайно узнал, что тёща.

Глинскому было шестьдесят. Грузный, седой, с бакенбардами старого образца, он говорил так тихо, что подчинённым приходилось наклоняться. Ведерников служил под его началом с Маньчжурии и знал правило: чем тише говорит полковник, тем хуже дело.

Сейчас Глинский шептал.

— Садись, Гриша. Чаю налей себе сам, у меня руки трясутся.

Он и правда держал стакан обеими ладонями, как крестьяне держат кружку с квасом в покос.

— В три часа ночи на перегоне между Завидовом и Тверью остановлен почтовый поезд номер семь. Красный фонарь на разъезде, потом его нашли в канаве. Кочегар связан, машинист побит. В почтовом вагоне двое конвойных убиты, старший по вагону ранен в голову. Взяты сто сорок две тысячи казённых денег.

— Это не к нам, Сергей Андреевич.

— Не к нам, — согласился Глинский. — Это к судебному следователю. Следователь назначен тверской, по важнейшим делам, он уже на месте. Пусть ищет. А к нам вот что.

Он поставил стакан, полез в нагрудный карман и вытащил сложенный вчетверо лист. Это была копия телеграммы. В углу бланка дважды подчёркнуто: «Совершенно секретно».

«Вместе с денежной почтой похищен пакет МОО за номером 1146, отправленный в Департамент в собственные руки. Содержание пакета: списки секретной агентуры по Московской губернии на первое июня сего года, с шифром и псевдонимами. Принять все меры к розыску. О содержании пакета никому из чинов судебного ведомства и общей полиции не сообщать».

Ведерников прочёл дважды, сложил лист и положил на стол.

— Сколько там имён?

— Сто тридцать восемь. — Глинский смотрел в окно. — Студенты, рабочие с Пресни и с Гужона, двое в Центральном комитете эсеров. Один священник. Одна учительница из Сокольников, у неё трое детей. Если списки попадут к партийным, через месяц от московской агентуры останутся одни отпевания. Если в газеты, то после истории с Азефом нам конец. Дума потребует распустить охранные отделения. И, знаешь, Гриша, я не уверен, что она будет неправа.

Ведерников поднял глаза. Такого от Глинского он не слышал никогда. Полковник был старой школы и считал охранку необходимым злом, как канализацию: воняет, но без неё город захлебнётся. Но чтобы вслух соглашаться с Думой…

— Зачем возить такие бумаги почтой?

— Вот. — Глинский впервые посмотрел ему в глаза. — Вот правильный вопрос. Их никогда не возили почтой. Их возил офицерский курьер, в отдельном купе, с конвоем. А тут в последний момент приходит распоряжение: отправить обычным порядком, с денежной почтой, чтобы не привлекать внимания. По телефону, из Департамента. Кто звонил, в Москве не записали. Начальник отделения клянётся, что узнал голос, но чей, сказать не может. Говорит, голос был знакомый и очень уверенный.

Самовар загудел. В глубине здания хлопнула дверь, по коридору простучали каблуки адъютанта.

— Значит, знали, — сказал Ведерников. — Какой поезд, какой вагон, что в сундуке. Это не эсеры.

— Почему?

— Эсеры взяли бы деньги и бросили бумаги. Им не до архивов. Или взяли бы бумаги и сожгли деньги из принципа, у них и такое бывало. А тут взяли всё, и аккуратно. Почему я, Сергей Андреевич? Почему не охранное отделение?

Глинский не ответил. Потом тяжело встал, подошёл к двери и проверил, плотно ли она закрыта.

— Потому что охранное отделение само себя искать не станет. Товарищ министра думает так же. Дело поручили корпусу, а в корпусе — мне. А я поручаю тебе. Ты единственный, кто арестовал племянника губернатора и не извинился. В формуляре у тебя это записано как недостаток. Я записал как рекомендацию.

Историю с племянником Ведерников вспоминать не любил. Молодой корнет, будучи пьян, застрелил в Вильне тапёра-еврея. Полиция записала «случайный выстрел». Ведерников записал «убийство» и привёз корнета в тюрьму в наручниках. Через неделю корнета отпустили, а Ведерникова перевели в Маньчжурию. С того и началась его служба под Глинским.

— Кто ещё знает?

— Министр. Товарищ министра. Директор Департамента. И вице-директор Штейнгель, он будет тебе всячески содействовать, так мне сказали. Допуск в архив на Фонтанке тебе дадут. — Глинский поморщился, как от зубной боли. — Евгений Карлович человек любезный и очень полезный. Будь с ним вежлив.

— Вы его знаете?

— Мы вместе начинали. В Москве, в девяностых. Он был ротмистром в охранном, я в губернском управлении. Теперь он действительный статский, а я полковник. Сделай выводы, если хочешь. Я их давно сделал.

Ведерников встал. Глинский тоже поднялся, тяжело опираясь на подлокотник, и подошёл вплотную. Пахнуло табаком и сердечными каплями.

— Гриша. Поезд в Тверь в одиннадцать сорок. Возьми Панкратова, он там свой. И вот ещё что. — Полковник взял его за пуговицу мундира, как берут гимназиста. — Если найдёшь пакет и увидишь, что его вскрывали, сначала неси мне. Мне, а не на Фонтанку. Понял?

— Понял, Сергей Андреевич.

— Ничего ты не понял. И хорошо. Иди.

На лестнице ждал Панкратов. Он держал два билета второго класса до Твери, хотя никто не поручал ему их покупать.

— Откуда?

— Догадался, ваше благородие. — Панкратов спрятал билеты за обшлаг. — Когда ротмистра зовут к полковнику до чаю, ротмистр к обеду едет из Петербурга. А больше ехать некуда, всё под Тверью.

Ведерников глянул в окно. Департаментские пролётки уже уехали. На их месте стояла третья, крытая, с поднятым верхом. Кучер дремал. Пассажира не было видно, только рука в серой перчатке лежала на краю дверцы и неторопливо постукивала пальцами.

— Давно стоит? — спросил Ведерников.

— С полчаса. Как вы вошли, так и подъехала. Номер на пролётке залеплен грязью. А грязи на Фурштатской сейчас нет, её с утра смыли.

Они вышли через двор. Когда Ведерников обогнул угол и снова вышел на улицу, пролётки уже не было.

До поезда оставалось четыре часа, и Ведерников зашёл домой.

Он снимал две комнаты на Кирочной, в третьем этаже, у вдовы чиновника почтового ведомства Марфы Игнатьевны Сушковой, которая сдавала их только военным, потому что военные, по её словам, не водят женщин и не жгут керосин по ночам. Про то, что Ведерников жжёт керосин по ночам, она знала и молчала. Про женщин ей беспокоиться не приходилось.

Панкратов остался внизу, у подъезда, на лавочке рядом с дворником. Ведерников не сомневался: через минуту они заговорят о ценах на овёс, о том, кто из жильцов не платит, и о том, что пролётка с залепленным номером проезжала здесь вчера вечером или не проезжала. Панкратов умел разговаривать с дворниками так, как другие разговаривают с исповедником.

В комнатах было душно. Ведерников открыл окно, достал из-под кровати старый дорожный чемодан с облупившимися медными уголками, ещё с маньчжурских времён, и стал укладывать. Две пары белья. Бритвенный прибор. Запасной мундир, штатский костюм, который он не любил и который сидел на нём, как на вешалке. Записные книжки, чистые. Браунинг в замшевом чехле. Устав уголовного судопроизводства в дорожном издании, с закладками.

Потом он открыл нижний ящик комода, чтобы достать запонки, и увидел шкатулку.

Китайская лакированная шкатулка была украшена драконом. Ключ от медного замочка давно потерялся. Он не открывал её два года. Он знал, что в ней лежит, и всё равно открыл.

Запах ударил в лицо сразу, сладкий, резкий, смолистый: спирт-лак. Он не выветрился за два года. Под крышкой, в отделениях, обитых выцветшим бархатом, лежали кисточки, баночки с гримом, засохшим и потрескавшимся, коробочка пудры, пучки крепе разных цветов, от пепельно-седого до рыжего, ножнички, щипчики, плоская жестянка с надписью по-французски. И маленький пузырёк тёмного стекла с притёртой пробкой. Спирт-лак. Театральный клей. Им приклеивают бороды, усы, бакенбарды, и он держит так, что не отдерёшь, пока не смоешь спиртом.

Варя.

Они познакомились в Харбине, в госпитале, в девятьсот четвёртом, осенью, когда он лежал там с осколком в плече, а она была сестрой милосердия, самой молодой в палате и самой строгой. Она отбирала у раненых папиросы и читала им вслух Чехова, и они не смели при ней ругаться. А по вечерам в офицерском собрании ставили любительские спектакли для выздо-

равливающих, и Варя гримировала актёров. Она умела сделать из безусого прапорщика седого генерала за двадцать минут, и сама смеялась над этим больше всех. Ведерников ходил на эти спектакли, хотя не любил театра. Он ходил смотреть, как она клеит усы.

Обвенчались они через полгода, в Харбине, на Пристани, в маленькой деревянной церкви, и шафером у него был Глинский, тогда ещё подполковник. А в девятьсот седьмом, в Петербурге, в той квартире с садом, где под окнами росли липы, Варя заразилась тифом от какой-то нищенки, которую подобрала на улице и привела отогреться, и сгорела за девять дней. Он был при ней все девять. На десятый её не стало.

Шкатулку он увёз с собой на Кирочную вместе с её платьями, которые потом отдал в богадельню, и с её Чеховым, которого не мог читать. Платья он отдал. Шкатулку не смог.

Ведерников взял пузырёк со спирт-лаком, повертел в пальцах. Жидкость внутри загустела и стала цвета тёмного мёда. Он вспомнил, как Варя учила его: «Видишь, Гриша, клей кладёшь тонко, вот так, и ждёшь, пока подсохнет до липкости. Потом прикладываешь крепе и прижимаешь полотенцем. Если всё сделать правильно, никто не отличит. Только по краю видно, если присмотреться. Плёночка блестит. Настоящий гримёр этот край запудривает, а любитель забывает».

Он тогда спросил: «А как отличить настоящего гримёра от любителя?»

И она засмеялась и сказала: «Настоящий гримёр никогда не забывает. А настоящий актёр, Гриша, сам себя гримирует и никому не доверяет. Потому что знает, что его лицо — это его работа. Как у тебя револьвер».

Он поставил пузырёк обратно, закрыл шкатулку и задвинул ящик. Посидел ещё немного на краю кровати, глядя на пятно на потолке, на свой Квантунский полуостров. Потом встал, застегнул чемодан и вышел, не оглядываясь.

Марфа Игнатьевна стояла в прихожей с узелком.

— Пирожки, — сказала она сурово. — С ливером. В дороге всё равно съедите какую-нибудь дрянь на станции. А это домашнее.

— Спасибо, Марфа Игнатьевна.

— И не спите опять одетым, — сказала она ему в спину. — Я же вижу. Покрывало всё мятое. Покойница бы не позволила.

Ведерников промолчал и спустился по лестнице. Панкратов поднялся с лавочки ему навстречу, отряхивая шаровары.

— Проезжала, — сказал вахмистр, не дожидаясь вопроса. — Вчера, в одиннадцатом часу вечера. Та самая, с залепленным номером. Постояла напротив минут десять и уехала. Дворник думал, к барышне из пятого номера. А к барышне из пятого номера, говорит, ходит студент, пешком, и на пролётках не ездит.

— Кто сидел?

— Не видал. Только руку. В перчатке. — Панкратов взял у него чемодан. — Серой.

Ведерников посмотрел вдоль Кирочной, в сторону Литейного. Улица была пустая, залитая солнцем, и на ней не было ни одной пролётки.

— Вчера в одиннадцатом часу, — сказал он, — поезд ещё не грабили.

— Так точно, ваше благородие, — сказал Панкратов. — Я тоже про это подумал.

На Николаевском вокзале газетчики уже кричали про Тверь. Ведерников купил «Биржевые ведомости». На третьей полосе, между рекламой пилюль от чахотки и отчётом о скачках, поместилась заметка в десять строк. «Дерзкое нападение». «Неизвестные в форме путейцев». «Сумма похищенного уточняется». О пакете ни слова.

— Пока, — сказал Ведерников и сложил газету.

В купе второго класса с ними ехали помещица с канарейкой в клетке и студент-технолог. Помещица увидела голубой мундир и пересела к окну, заслонив канарейку собой. Студент побледнел и через полчаса вышел в тамбур курить. До Любани он так и не вернулся в купе.

— Не любит нас народ, — вздохнул Панкратов, раскладывая на колене салфетку с колбасой.

— А за что нас любить?

Панкратов подумал, пожевал.

— За порядок, — сказал он. — Но порядок, ваше благородие, все любят, пока он у соседа.

За окном ползли болота, серые деревни, берёзовые перелески. Ведерников достал записную книжку и начал считать.

Распоряжение по телефону. Кто-то в Департаменте захотел, чтобы списки ехали без офицера. Кто-то знал расписание седьмого почтового и разъезд с сигнальным фонарём. Деньги и бумаги забрали вместе. Деньги, вероятно, пошли на оплату налёта. Но зачем понадобились бумаги?

Бумаги можно продать эсерам. Можно продать газетам. Можно продать иностранцам, немцам или австрийцам: тем тоже интересно, кто в Москве служит охранке. А можно никому не продавать. Можно просто держать у себя. Как держат заряженный револьвер под подушкой.

И серая перчатка на дверце. Она-то здесь при чём?

Ведерников закрыл книжку. Панкратов спал сидя, сложив руки на животе, и дышал ровно, как спят люди с чистой совестью или без воображения. Помещица вязала чулок. Канарейка молчала.

Во сне, который наконец пришёл сам собой, Ведерников видел Харбин, маленькую сцену в офицерском собрании и жену с кисточкой в руке. Она клеила кому-то усы и смеялась. Лица того, кому она клеила усы, он разглядеть не мог.

В Тверь приехали в седьмом часу вечера. Солнце ещё стояло над Волгой. Город жил вечерней суетой.

Глава 3. Следователь

Почтовый вагон отцепили и загнали на запасной путь за тверским депо. Он стоял среди лопуха и крапивы, зелёный, с облупившимся орлом на борту, и выглядел так мирно, что Ведерников на миг усомнился, тот ли это вагон. Вечернее солнце грело жестяную крышу, над лопухами гудели шмели. У открытой двери скучал городовой. Увидев голубой мундир, городовой вытянулся и заметно побледнел.

— Не велено, ваше благородие.

— Кем не велено?

— Их благородием следователем. Всем не велено, кроме них.

Из вагона выглянул молодой человек в сюртуке судебного ведомства, без фуражки, с карандашом за ухом. Худой, высокий, с тонким усталым лицом, он напоминал то ли студента юридического факультета, то ли молодого священника. На вид ему было не больше двадцати пяти. На локте сюртука темнело пятно. С виду — чернила, но пахло кровью.

— Судебный следователь Оболенцев, — сказал он, не спускаясь с подножки. — Тверской окружной суд, по важнейшим делам. Веду дело об убийстве конвойных Хвостова и Гусева. С кем имею честь?

— Ротмистр Ведерников, Отдельный корпус жандармов. Я должен осмотреть вагон.

— Вагон приобщён к делу как место преступления. — Оболенцев произнёс это ровно, без вызова. — Осмотр произвожу я, в присутствии понятых. Если у корпуса есть сведения о государственном характере преступления, прошу сообщить их мне, и я внесу в протокол.

За спиной Ведерникова Панкратов издал звук, похожий на сдавленный кашель.

В другое время Ведерников поставил бы мальчишку на место двумя фразами. Судебные следователи по закону были независимы, но после пятого года редко кто из них решался спорить с голубым мундиром. В кармане Ведерникова лежала телеграмма с приказом ничего не сообщать судебному ведомству. А следователь на подножке спокойно спрашивал как раз о том, что ротмистру велели скрыть.

— Сведений нет, — сказал Ведерников. — Есть распоряжение.

— Распоряжение корпуса для меня необязательно. — Оболенцев помолчал, улыбнулся и сразу помолодел. — Но я не дурак, господин ротмистр. Убиты двое солдат и взяты деньги. Это моё дело. А если из-за него в Тверь первым же поездом приезжает ротмистр из Петербурга, значит, взято что-то ещё. Давайте так. Я не спрашиваю, что именно. А вы идёте со мной понятым.

— Понятым? — переспросил Ведерников.

— У меня один понятой сбежал, — сознался Оболенцев. — Деповский слесарь. Увидел кровь и сказал, что у него жена рожает. Вторично за неделю, как мне потом сказали.

Панкратов всё-таки закашлялся. Ведерников смотрел на следователя, не мигая. Потом снял фуражку и отдал вахмистру.

— Понятым так понятым.

И полез в вагон.

Внутри пахло кровью, чернилами и нагретым железом. Тела уже увезли. От них остались тёмные пятна на досках и рассыпанные шашки, которые никто не догадался собрать. Сундук стоял раскрытый. На столе лежала залитая чернилами ведомость. Засохшее пятно на ней напоминало след сапога.

По движениям Оболенцева Ведерников понял: следователь провёл здесь не один час и уже не раз обошёл вагон. Шаг к двери. Два шага к сундуку. Поворот к мешкам, где сидел почтальон.

— Хвостова убили через щель, в упор, — сказал он, не оборачиваясь. — Ожог на шинели. Гусева с двух шагов, дважды, из двух разных револьверов: одна пуля нагановская, другая похожа на браунинг. Старшего по вагону ударили рукоятью. Не добивали. Почтальона не тронули вовсе.

— Старший по вагону жив?

— В губернской больнице. Сотрясение, врач говорит, выживет. Допрошу завтра, сегодня он заговаривается.

— Вы что-то нашли, — сказал Ведерников.

Оболенцев вместо ответа вышел наружу и кивнул на подножку. На второй ступеньке, у самого края, стоял стакан из вокзального буфета, перевёрнутый вверх дном.

— Стакан не мой, — предупредил Оболенцев. — Мой свидетель поставил его на рассвете. И слава богу. Утром сюда лезли все кому не лень: начальник станции, исправник, два репортёра из «Тверского вестника». Репортёры были хуже всех. Один садился на эту ступеньку три раза, всё не мог выбрать, каким боком его снимать.

Ведерников присел на корточки, снял стакан и наклонился. Стекловидное пятно размером с двугривенный. В нём два рыжих волоска, жёстких, как из подстриженной бороды. Он тронул пятно ногтем. Оно чуть прилипало. Он понюхал палец.

Спирт и что-то смолистое, сладковатое. Как ладан в церкви на Пасху.

— Мастикс, — сказал Ведерников. — На спирту. Театральный клей. На него сажают усы и бороды.

— Вы и это знаете?

— Жена играла в любительских спектаклях в Харбине, — сказал Ведерников и тут же пожалел. — Усы перед спектаклем всем клеила она.

Оболенцев не стал расспрашивать. Ведерников был ему за это благодарен.

— У меня есть свидетель, — сказал следователь. — Почтальон Сыромятников. Он мой свидетель, и я держу его при себе. В жандармское управление не отдам. Но если хотите, послушайте его при мне.

Дмитрий Сыромятников сидел в комнате дежурного по станции и держал жестяную кружку. Судя по всему, он не выпускал её из рук с утра, хотя кружка давно опустела. Домой его не отпускали, да он и не просился: мать приехала из Москвы первым же поездом, плакала в коридоре, привезла пирог с вязигой. Пирог лежал на подоконнике нетронутый. При виде жандармского мундира парень поднялся. Ведерников заметил, что у него дрожит колено.

Несмотря на пережитое утром убийство, девятнадцатилетний парень рассказывал связно. Рыжие усы, скулы, фуражка путейца. Белые руки. «Господа». Хлестаков в Вышнем Волочке. Коренастый с белым шрамом на затылке, который хотел «кончить» старика. Уговор не трогать солдат, если не стреляют. Пять рублей машинисту. Дойдя до «запомни правильно», парень замолчал и посмотрел на следователя, будто спрашивая, можно ли дальше.

— Он сам вам сказал, кто он, — тихо произнёс Оболенцев, когда парень закончил. — Актёр. Провинциальная труппа. Вышний Волочёк. Там не так много театров, можно поднять афиши.

— Или хочет, чтобы мы так думали, — сказал Ведерников. — Человек, который оставляет свидетеля живым и просит запомнить его лицо, не разбрасывает улики по случайности. Он раскладывает их, как карты в пасьянсе.

— Тогда клей на подножке тоже пасьянс?

— Не знаю, — честно сказал Ведерников. — Может, единственная его ошибка. А может, единственная шутка.

Он повернулся к парню.

— Дмитрий, ты всё рассказал хорошо. Помнишь в точности. Кто тебя научил так рассказывать?

Парень покраснел.

— Рассказывал уже, ваше благородие. Их благородию вот, — он кивнул на Оболенцева, — и ещё до них одному господину.

В комнате стало тихо. Оболенцев медленно положил карандаш на стол.

— Какому господину? Ты мне не говорил.

— Вы не спрашивали, ваше благородие. А он велел не говорить. В шестом часу пришёл, только тела унесли. В штатском, в сером. Билет показал с орлом, я не разглядел. И спрашивал чудно. Про убитых не спрашивал, про деньги не спрашивал. Про усы тоже. Только про пакет. Вскрывали ли его в вагоне. Или целым унесли.

— И что ты ответил?

— Что целым. — Парень сглотнул. — Он обрадовался, ваше благородие. Улыбнулся и дал мне рубль. Сказал, что я молодец и что теперь всё будет хорошо. А Фёдор Игнатьевич велел смотреть, кто спрашивает. И о чём. Сказал: кто спросит про пакет, тот и хозяин. Я и смотрел.

— И кто же?

Дмитрий молчал долго. Потом сказал так тихо, что обоим пришлось наклониться:

— Перчатки у него были серые. Пахло хорошим табаком. И ещё, ваше благородие… Он одну перчатку снял, когда рубль доставал. У него на пальце была синяя краска. Как от сургуча. У Московского охранного сургуч синий. Я его в руках держал, знаю.

Ведерников и Оболенцев переглянулись: каждый понял, о чём подумал другой.

В шестом часу утра в Твери не было ещё ни жандармов, ни судебного следователя. Ни один поезд из Петербурга или Москвы не успел бы довезти сюда чиновника с билетом с орлом. Значит, человек в серых перчатках оказался под Тверью ещё до налёта.

Из вокзала они вышли втроём. Панкратова Ведерников оставил при Дмитрии, и вахмистр сразу понял зачем: присел на лавку у двери, расстегнул кобуру и задремал так, что мимо него и мышь бы не прошла.

Извозчик вёз их по Миллионной к Волге. Тверь была жёлтая, тихая, заспанная. У купеческих ворот сидели на лавках старухи и лузгали семечки. Из трактира на углу несло щами и гармошкой. Губернская больница стояла на круче, белая, с колоннами, как дворянская усадьба, которую за долги отдали под больных.

— Старик в сознании, — сказал по дороге Оболенцев. — Но заговаривается. Утром просил попа. Потом просил очки. Потом ведомость, чтобы сверить. Врач не дал.

— Вы его допрашивали?

— Пять минут. Больше не позволили. Он всё повторял одно слово: «Уточняется». Я сначала не понял. Потом понял: он считает, что его сделают виноватым. Деньги не досчитаются, и всё спишут на него. Тридцать два года службы.

В палату их не пустили. Дежурный врач, добродушный толстяк с потной лысиной, встал в дверях как скала.

— Спит, господа. Я ему дал хлоралу. У него трещина в височной кости, и если вы его разбудите, я за него не отвечаю. Завтра. Хоть в семь утра.

— К нему сегодня кто-нибудь приходил? — спросил Ведерников.

— Следователь. — Врач кивнул на Оболенцева. — И из почтового округа чиновник. И ещё один господин, из страхового общества, спрашивал, сколько он пролежит. Вежливый такой. В сером.

Ведерников медленно повернулся к следователю.

— Пост у двери нужен, — сказал он. — На всю ночь.

— Моих людей у меня двое, — сказал Оболенцев. — Секретарь и писарь. Оба боятся покойников.

— Тогда городового. Исправник даст, если попросите вы. Меня он пошлёт к жандармскому начальнику, а тот на даче.

Исправник дал. В десять вечера у двери палаты на табурете сидел городовой с шашкой на коленях и крутил ус.

Ужинали в гостинице «Париж», в пустом зале с пальмами в кадках. Оболенцев заказал стерлядь и не съел. Ведерников свою доел и поглядывал на нетронутую рыбу следователя.

— Ешьте, — сказал Оболенцев и подвинул тарелку. — Я с утра в вагоне. Не могу.

— Первое дело?

— Первое с убитыми. До этого были подлоги и один поджог в Кашине. А ещё раньше диссертация о свидетельских показаниях, которую я так и не защитил. — Он улыбнулся криво. — Тема была такая: «О достоверности словесного портрета». Ирония, да? Сегодня я видел самый достоверный словесный портрет в своей жизни. И он совершенно бесполезен.

— Почему вы так уверены?

— Потому что его нам подарили. — Оболенцев повертел вилку. — Мой учитель, профессор Фойницкий, говорил: свидетель всегда лжёт, даже когда говорит правду. Потому что помнит не то, что видел, а то, что понял. А в этот раз свидетелю объяснили, что понимать. Мальчика натаскали, как гимназиста на экзамен. И он сдаст на пятёрку. А мы будем искать рыжего путейца со скулами, которого нет на свете.

Ведерников доел чужую стерлядь и вытер усы.

— Зато есть то, чего ему не дарили, — сказал он. — Коренастый со шрамом. Про него актёр ничего не говорил. И человек в серых перчатках, которого тоже не дарили. И клей. Три вещи, которые он не клал на стол. Значит, с них и начнём.

Оболенцев посмотрел на него с интересом.

— «Начнём», — повторил он. — Вы сказали «начнём», ротмистр.

— Оговорился.

— Не думаю. — Следователь впервые за вечер взял со стола хлеб и откусил. — Не беспокойтесь. В протокол это не пойдёт.

Из «Парижа» вышли в одиннадцатом часу. Июньская ночь над Тверью так и не стемнела, только посинела, и в этой синеве белели колокольни, а Волга под откосом лежала светлая, как жесть, и по ней медленно, без огней, шёл плот с шалашом посередине. На плоту кто-то пел.

Ведерников собирался в номер. Оболенцев сказал, что проводит его до угла, и проводил до набережной, а потом они пошли вдоль Волги, мимо Путевого дворца, мимо тёмных купеческих особняков, и ни один из них не предложил повернуть назад.

— Я здешний, — сказал Оболенцев, глядя на реку. — Родился в имении под Старицей, а гимназию кончал тут, в Твери. Вон там, видите, за собором, жёлтое здание. Нас водили по этой набережной парами, в мундирчиках, по воскресеньям, после обедни. Я всегда шёл последним и всегда отставал, потому что смотрел на баржи. Мне казалось, что на каждой барже везут что-нибудь тайное. Контрабанду. Беглого каторжника. Похищенную княжну.

— А везли дрова.

— Дрова и хлеб, — согласился Оболенцев. — И один раз, в девяносто шестом году, действительно беглого каторжника. Его сняли прямо здесь, у пристани. Я видел. Он лежал на досках лицом вниз, а городовой стоял над ним, поставив ногу ему на спину. И каторжник плакал. Я тогда очень испугался. Не каторжника. Городового. — Он помолчал. — Потом выяснилось, что каторжник был не тот. Похож. Его отпустили через месяц. Он за этот месяц потерял место приказчика и невесту.

— И вы решили стать следователем.

— Я решил, что кто-то должен проверять, тот ли, — сказал Оболенцев. — Прежде чем ставить ногу на спину. Это, если хотите, и есть вся моя профессия. Проверять, тот ли.

Плот прошёл мимо. Песня стала тише, потом совсем пропала. Над водой поднимались редкие клочья тумана. Звуки постепенно стихали.

— Отец хотел, чтобы я шёл по адвокатуре, — продолжал Оболенцев. — Он сам служил по судебному ведомству, в Петербурге, ещё при старом уставе, а потом вышел в отставку и уехал в имение. Говорил, что адвокат ест хлеб с маслом, а следователь ест хлеб с адвокатом. Он умер, когда я был на третьем курсе. А имение продали за долги. От всего имения у меня осталась только няня. — Он улыбнулся. — Она поехала за мной в Москву, когда я учился, а потом сюда. Живёт со мной на Миллионной. Ей восемьдесят два года, и она считает, что я до сих пор не умею завязывать шнурки. Возможно, она права.

Ведерников молчал. Слушать Оболенцева было непривычно. С жандармами обычно говорили осторожно, взвешивая каждое слово, или вовсе молчали. А этот мальчик рассказывал ему про няню и шнурки, как старому приятелю. То ли он был очень наивен, то ли очень умён. Ведерников пока не мог решить.

— А вы, ротмистр? — спросил Оболенцев.

— Что я?

— Вы откуда?

— Из Ярославля, — сказал Ведерников. — Отец был учителем гимназии. Латынь. Хотел, чтобы я шёл в университет. Я пошёл в кадетский корпус. Он мне этого так и не простил.

— Почему в корпус?

Ведерников подумал. Он давно себе этот вопрос не задавал.

— Потому что в гимназии меня всё время спрашивали, что я думаю, — сказал он. — А в корпусе спрашивали, что я видел. Мне это больше подходило.

Оболенцев засмеялся. Смех у него был негромкий, мальчишеский.

— Вот видите, — сказал он. — Мы с вами почти коллеги. Я тоже спрашиваю, что видели. Только потом мне приходится думать. А вам, наверное, нет.

— Мне тоже приходится, — сказал Ведерников. — Я только не люблю.

Они дошли до конца набережной, туда, где кончались фонари и начинался берег, низкий, с лодками, вытащенными на песок. Пахло рыбой, смолой и тиной. Где-то в темноте, у лодок, тлела цигарка: кто-то из рыбаков не спал. Оболенцев остановился.

— Вы сказали, ваша жена клеила усы, — сказал он осторожно, глядя не на Ведерникова, а на воду. — В Харбине.

— Да.

— Она тоже приехала с вами?

— Она умерла, — сказал Ведерников. — Два года назад. Тиф.

Оболенцев кивнул и ничего не сказал. Не произнёс ни «простите», ни «соболезную». Просто стоял рядом и смотрел на воду. Ведерников был благодарен ему за молчание.

Так они стояли минут пять. Потом цигарка у лодок погасла, и Оболенцев сказал:

— Пойдёмте, ротмистр. Завтра рано. И вот что. Мне не нравится, что ваш вахмистр сидит на станции один с моим свидетелем. Если тот господин в сером приходил в шестом часу утра, он может прийти и в шестом часу вечера.

— Панкратов не спит, когда сторожит.

— Я видел, как он не спит, — сказал Оболенцев. — Он не спит с закрытыми глазами и с храпом. Это очень убедительно. Но я бы на вашем месте всё-таки зашёл.

Они зашли. Панкратов сидел на лавке у двери комнаты дежурного в той же позе, в какой его оставили, с расстёгнутой кобурой, и храпел. Когда они подошли на три шага, он, не открывая глаз и не переставая храпеть, сказал:

— Двое заходили, ваше благородие. Один кондуктор, за кипятком. Второй никто, ошибся дверью. Кондуктора я знаю, он тверской. Второго не знаю. В котелке. Ушёл на московский, в одиннадцать двадцать. Я в окно смотрел, пока не тронулся.

И снова захрапел.

Оболенцев долго смотрел на вахмистра. Потом снял пенсне, протёр его платком и сказал с глубоким уважением:

— Беру свои слова назад.

В семь утра они снова были в больнице.

Городовой спал на табурете, прислонившись затылком к стене, и храпел. Дверь палаты была прикрыта. В коридоре пахло карболкой и пригоревшей кашей.

Ведерников не стал его будить. Он толкнул дверь.

Фёдор Игнатьевич Лукин лежал на спине, с повязкой вокруг головы, строгий и маленький. На тумбочке лежали очки с треснувшим стеклом. Руки на одеяле были сложены крест-накрест.

Их кто-то сложил.

Ведерников подошёл, тронул руку. Холодная. Уже несколько часов.

За его спиной Оболенцев сказал что-то очень тихо, по-латыни. Может, молитву. Может, цитату из римского права.

Прибежал врач, тот же толстяк, серый от бессонницы. Послушал, потрогал зрачки, посмотрел на часы и стал называть слова: кровоизлияние, позднее осложнение, в его возрасте, к сожалению, бывает.

— Руки кто сложил? — спросил Ведерников.

Врач замолчал на полуслове.

— Не знаю. Сиделка, наверное. У нас одна старушка всегда…

Сиделка клялась, что не заходила с полуночи. Городовой, разбуженный и перепуганный, клялся, что не спал ни минуты. Потом, прижатый Панкратовым к стене, вспомнил: в третьем часу приходил доктор. Не этот. Другой, в белом халате, с саквояжиком. Сказал, что надо сделать больному укол. Пробыл минут пять. Вышел, сказал «спит, слава богу», и дал городовому папироску. Хорошую, фабрики Богданова.

— Какой он был? Лицо?

— Да какой… — Городовой заморгал. — Доктор как доктор. В очках. Вежливый. Руки в перчатках, тонких таких. Я ещё подумал: ишь, чистюля, в перчатках уколы делает.

— Цвет перчаток?

— Серый, ваше благородие. Светло-серый.

Ведерников вышел на крыльцо. Над Волгой стоял туман, и из тумана доносился сонный гудок буксира. Оболенцев вышел следом и встал рядом.

— Вскрытие, — сказал он. — Я назначу вскрытие. На руке должен быть след от иглы.

— Назначайте. Найдут кровоизлияние. Десять против одного. А след от иглы врач объяснит камфорой, которую сам же и колол вечером.

Оболенцев долго молчал.

— Старик говорил Дмитрию: нас уже нет, — сказал он наконец. — Деньги простят, а за такие бумаги не прощают. Я счёл это старческим страхом. Ротмистр, какие бумаги были в пакете?

Ведерников смотрел на туман. Приказ лежал у него в кармане: ничего не сообщать судебному ведомству.

— Такие, за которые убивают стариков в больнице, — сказал он. — Больше не спрашивайте, Андрей Иванович. И вашего почтальона не отпускайте от себя ни на шаг. Он теперь единственный, кто видел обоих.

Глава 4. Неустановленное лицо

Обратный поезд шёл из Твери почти пустой. Ведерников сидел у окна, смотрел на мокрые перелески и видел одно: сложенные на груди руки Лукина. Тридцать два года кондуктор ездил по этой дороге, пережил два крушения и холеру, получил пулю в плечо и выжил. А потом ночью пришёл «доктор» в светлых перчатках и аккуратно сложил ему руки на груди.

Панкратов дремал напротив, привалившись к стенке, и даже во сне держал ладонь на кобуре.

В Бологом Ведерников вышел на перрон и отбил Оболенцеву телеграмму: «Мальчика держите при себе. Никого к нему не пускайте, даже с орлом». Подумал и добавил: «Особенно с орлом». Телеграфист прочёл, поднял на жандарма глаза и ничего не сказал. В Бологом видали всякое.

Глинский выслушал доклад стоя, у окна, спиной к ротмистру. Так он обычно выслушивал неприятные известия.

Ведерников докладывал коротко. Налёт, двое конвойных убиты, один свидетель. Рыжие усы на клею, пятно от клея на стекле. Пакет Московского охранного отделения унесён целым. Кондуктор Лукин скончался ночью в больнице при невыясненных обстоятельствах. Городовой у дверей видел неизвестного доктора; личность его устанавливается. Про человека в серых перчатках он сказал два слова. Про то, что налётчик наговорил свидетелю, не сказал ничего.

Это решение пришло к нему ещё в поезде, где-то между Спировым и Вышним Волочком, и оно ему самому не нравилось. За двадцать лет службы он привык докладывать начальству обо всём. Но и начальство Глинского отчитывалось перед кем-то ещё. А где-то на этой лестнице стоял человек, который в шестом часу утра уже был под Тверью.

— Невыясненные обстоятельства, — повторил Глинский, не оборачиваясь. — Это ты так называешь убийство в губернской больнице под охраной полиции?

— Так точно, господин полковник. Пока не выяснено.

— Пока. — Глинский наконец повернулся. Лицо у него было серое, как невская вода за окном. — Ты понимаешь, что этот пакет вёз? Нет, и я не понимаю. Мне не сказали. Мне сказали: найти. Ты чего хочешь?

— Архив Департамента, господин полковник. Неделю.

— Зачем?

— Хочу посмотреть, где он ещё бывал.

Глинский долго молчал. Потом сел за стол, написал на бланке три строчки и расписался так, что перо брызнуло.

— Три дня, — сказал он. — Неделю мне не дадут. И, Григорий Петрович… Пиши мне всё. Слышишь? Всё, что найдёшь. Я должен знать, если мне на голову падает кирпич.

— Слушаюсь.

На лестнице Панкратов спросил, всё ли рассказали полковнику.

— Всё, что полковнику нужно, — сказал Ведерников.

Панкратов хмыкнул и больше не спрашивал. Четыре года на Хитровке научили его, что начальство тоже бывает разное.

Архив Департамента полиции занимал полуподвал дома на Фонтанке и пах мышами, пылью и сургучом. Окна выходили во двор на уровне булыжника, и весь день мимо них ходили сапоги: дворницкие, курьерские, офицерские. По сапогам можно было узнать время. В девять шли курьеры, в одиннадцать чиновники, в два часа сапоги шли обратно, к обеду.

Хозяином подвала был старик Цвирко. Маленький, в чёрных нарукавниках, с бородкой клинышком, он служил в архиве с семьдесят восьмого года и пережил шесть директоров Департамента. Говорили, что он помнит номер каждого дела, которое через него прошло, а их, по самому скромному счёту, было тысяч сорок. Ведерникова он встретил у железной двери, прочёл бумагу Глинского, поднёс её почти к самым глазам и сказал:

— Три дня. Ага. Что изволите искать, ваше благородие?

— Налёты. Почтовые, банковские, кассовые. За три года. Где взяли деньги и ушли.

— Таких, ваше благородие, полторы тысячи будет. С экспроприациями две. Россия страна большая.

— Значит, начнём с двух.

Цвирко посмотрел на него с интересом. Так, наверное, смотрят на человека, который собрался вычерпать пруд ложкой.

— Чаю принести? — спросил он.

— Принесите.

Принесли чай. Ведерников устроился за длинным столом под зелёной лампой и просидел там до вечера.

Искал он почерк. Лица его не интересовали. Этому его научила Маньчжурия. В девятьсот пятом, в Мукдене, он два месяца ловил японских лазутчиков, и первые две недели ловил не тех. Китайцы, японцы, корейцы были для русского глаза на одно лицо, а в китайском платье на одно лицо были вообще все. Потом старый казачий урядник, который ловил хунхузов ещё до войны, сказал ему: «Вы, ваше благородие, на рожу не глядите. Рожа у него какая хошь будет. Вы глядите, как он обмотки мотает». Японцы мотали обмотки по-своему, снизу вверх и с перехлёстом, их так учили в казарме, и отучиться они не могли. Один считал на пальцах, загибая их от мизинца. Другой прятал донесения в каблук, третий в шапку, и каждый всегда в одно и то же место. Лицо можно сменить за полчаса. Привычку и за жизнь не сменишь.

Значит, и у этого есть привычка. Надо только найти, где он её оставил.

К концу первого дня на полу возле стола выросли две стопки. Слева лежали дела, по которым грабителей поймали или хотя бы установили их личности. Таких было большинство. Взяли, судили, повесили, сослали. Эсеры-максималисты, анархисты, латышские «лесные братья», просто уголовные с Лиговки. Ведерников откладывал их, едва открыв. В правой лежали дела, которые ничем не кончились. Их было меньше, около сотни.

На второй день он начал читать правую стопку по-настоящему, и к обеду понял, что ищет не там. Он смотрел на то, что взяли и как ушли, а смотреть надо было на то, что осталось. На свидетелей.

Он снова перебрал дела. Теперь его интересовали случаи, когда грабитель пощадил свидетеля, хотя мог его убить.

Нашлось семь таких дел.

Рига, декабрь шестого года. Налёт на кассу таможни на Экспортной улице. Двое убитых, охранник и кассир. Взяли сорок тысяч. Живым оставили ночного сторожа, старика Озолса, которого связали и посадили на стул. Сторож описал налётчика подробно, на трёх листах: старик-латыш, седой, белый шрам через бровь. Говорил с сильным акцентом. Пока товарищи вскрывали сейф, рассказал сторожу, что в пятом году драгуны сожгли его хутор под Тукумом вместе с женой. «Ты, старик, запомни меня. Я Янис с хутора Лиепас». Полиция полгода искала Яниса с хутора Лиепас. Нашла. Хутор под Тукумом действительно сожгли в пятом году, и жена хозяина действительно сгорела. Сам Янис сидел в это время в рижской тюрьме по совершенно другому делу и сидел там с весны.

Одесса, май седьмого года. Почтовая контора на Преображенской. Трое убитых. Живой осталась телеграфистка, барышня Розанова. Налётчик, молодой красивый грек с серьгой в ухе, полчаса, пока его люди грузили мешки, рассказывал ей про старшего брата, повешенного в Херсоне за контрабанду, и плакал. Настоящими слезами. Барышня потом сказала на допросе, что ей было его жалко. Брата нашли, вернее, нашли семью повешенного в Херсоне контрабандиста Ставракиса. Младший брат Ставракиса был в этот день в Пирее, на что имелось сорок свидетелей и судовой журнал.

Киев, сентябрь седьмого. Варшава, январь восьмого. Казань, апрель восьмого. Нижний Новгород, ярмарка, август восьмого. Везде одно и то же. Убитые, деньги, и один живой человек, которому налётчик подробно, со вкусом, рассказывал, кто он такой. Польский шляхтич с родовым перстнем. Татарин-извозчик, у которого исправник отнял лошадей. Волжский грузчик-старообрядец, говоривший на «о». В Варшаве он был с бородой, в Казани бритый, в Нижнем рябой. Рост везде указан средний. Возраст у всех разный: от двадцати пяти до шестидесяти.

И вот теперь перегон под Тверью. Рыжий путеец с белыми руками, который читал наизусть «Ревизора».

Ведерников разложил семь дел веером и долго изучал записи.

— Он не прячется, — сказал он Панкратову. Тот сидел напротив и переписывал даты на отдельный лист крупным, старательным почерком, высунув от старания кончик языка. — Наоборот. Он показывается. Каждый раз даёт нам целого человека, с лицом, с биографией, с горем. И каждая биография настоящая. Хутор правда сожгли, брата правда повесили. Он их где-то берёт, Панкратов. Вычитывает. Мы ищем биографию, а он уже в другой.

Панкратов отложил перо.

— В театре это ролью называется, ваше благородие.

— Именно.

— У нас на Хитровке был один такой. Шарманщик. Утром он слепой, днём безногий, вечером отставной солдат с Шипки. И всё по-настоящему, ваше благородие, у него и медаль

была, и культя была. Где он культю брал, никто не знал. Его так и не взяли. Говорили, в Париж уехал.

— Этот в Париж не уедет, — сказал Ведерников. — Ему тут интереснее.

Был ещё один общий признак, и Ведерников заметил его только вечером второго дня, когда в подвале остались они двое да Цвирко, который гремел где-то в дальнем конце ключами.

В четырёх делах из семи свидетель, оставленный в живых, потом исчезал. Обычно спустя месяц-другой. Сторож Озолс в марте седьмого года ушёл из дома и не вернулся. Нашли его в мае, когда сошёл лёд с Даугавы. Барышня Розанова уволилась с телеграфа и уехала, по словам квартирной хозяйки, к жениху в Кишинёв. Жениха в Кишинёве никто не знал. Казанский половой из трактира, который видел татарина-извозчика, умер от горячки. Варшавский кассир застрелился.

И в двух делах из этих четырёх на полях стояла одна и та же карандашная пометка, сделанная разными руками: «Справлялся агент страх. общ.». Ни название общества, ни имя агента, ни время его визита указаны не были. Просто приходил человек, расспрашивал полицию о свидетеле и уходил. В Одессе пристав даже приписал, видно, от скуки: «Вежлив. В сером».

Ведерников вспомнил тверского врача, который рассказывал про человека из страхового общества, справлявшегося о здоровье Лукина. Вспомнил городового у двери палаты и доктора в очках и светлых перчатках. В животе стало холодно, как в детстве, когда он ночью шёл через тёмную анфиладу комнат к матери.

— Панкратов, — сказал он, — завтра с утра сходи в правление «России» на Морской. И в «Саламандру». И во все страховые общества, какие есть в Петербурге. Спроси, посылали ли они агентов в Ригу в шестом году и в Одессу в седьмом.

— Не посылали, ваше благородие, — сказал Панкратов.

— Знаю. А ты всё равно сходи. Мне нужно, чтобы было записано.

Имя обнаружилось на третий день — случайно, среди бумаг, к которым Ведерников прежде не обращался.

Его не было ни в розыскных листах, ни в циркулярах, ни в алфавитной картотеке, которую Цвирко вёл сам и никому не доверял. Ведерников наткнулся на него, когда от отчаяния полез в соседний шкаф, в бумаги Особого отдела по тюремным беспорядкам. Он искал там других «Янисов», беглых или освобождённых, кто мог бы знать сожжённые хутора.

Это был рапорт начальника Нерчинской каторги о бунте в Алгачинской тюрьме весной седьмого года. Тридцать страниц, исписанных писарем с завитушками. Бунт был страшный. Каторжные убили двоих надзирателей, подожгли контору и двое суток держали тюрьму. Потом пришли казаки. Ведерников читал быстро, по диагонали, и чуть не пропустил главное.

На допросе зачинщики в один голос показали, что их подбил некий Варнак. Он сидел с ними в одной камере два месяца под именем бродяги Ивана, не помнящего родства. Говорил мало, слушал много. Знал, где лежат ключи от цейхгауза, сколько у караула патронов и в какой час меняются часовые. Знал, кто из надзирателей пьёт и кто берёт. Каторжные его боялись и уважали, а такое на Нерчинской каторге случалось редко.

За неделю до бунта бродягу Ивана внезапно освободили по телеграмме из Иркутска: личность установлена, дело прекращено за отсутствием состава. Его вывели за ворота, дали казённые полтора рубля на дорогу, и больше его никто не видел. В Иркутске о такой телеграмме ничего не знали. Бунт подавили. Девятерых повесили на тюремном дворе.

На полях рапорта, против фамилии «Варнак», кто-то из Департамента написал карандашом аккуратным, почти чертёжным почерком: «Лицо неустановленное. В дело». Подписи не было.

— Варнак, — повторил Ведерников вслух.

В Сибири так называли беглого каторжника. Бродягу, человека без роду, без племени, без имени. Слово было тёмное, старое, с привкусом тайги и кандалов.

— Каторжная кличка. И телеграмма, которой не было. — Он поднял глаза на Панкратова, который уже стоял за его плечом и читал. — Ты видишь? Кто-то вытащил его из тюрьмы за неделю до бунта. Значит, этот кто-то знал про бунт. И не предупредил тюремное начальство. Девять человек повесили, двоих надзирателей зарезали, а он знал.

— Осведомитель, — сказал Панкратов мрачно. — Подсадная утка. Подбил сокамерников, сдал их и ушёл, пока не порешили.

— Сдал кому? В Алгачинске о нём никто ничего не знал, иначе бунта бы не было. Значит, не тюремному начальству. — Ведерников перевернул рапорт и посмотрел на штамп входящих. — Получено здесь, на Фонтанке, в Особом отделе, в июне седьмого года. Из Особого отдела ушло в архив, с надписью «В дело». В какое дело? Вот номер. Цвирко!

Архивариус вышел из-за стеллажа почти сразу. По всему было видно, что он слышал разговор.

— Дело, к которому подшит этот рапорт.

Цвирко взял лист двумя пальцами, посмотрел на номер, пожевал губами и ушёл в дальний конец подвала, туда, где под низкими сводами горела одна-единственная лампочка. Его не было четверть часа. Ведерников слышал, как тот двигает ящики, как скрипит лесенка и как старик бормочет себе под нос, не то по-польски, не то по-латыни.

Вернулся он с пустыми руками. Лицо оставалось невозмутимым, но Ведерникову показалось: тот о чём-то умолчал.

— Изъято, ваше благородие. В прошлом году, в октябре.

— Кем?

— По распоряжению. В книге выдачи запись есть. Только подпись неразборчивая.

— Покажите книгу.

— Не могу, ваше благородие. — Старик развёл руками. — Лист с записью, извините, на прошлой неделе залили чаем. Я сам и залил, руки уж не те. Архив дело сырое, всё гниёт.

Ведерников пристально посмотрел на него. Цвирко не отвёл глаз. За тридцать лет в подвале на Фонтанке он привык к взглядам и пострашнее.

— На прошлой неделе, — сказал Ведерников. — А налёт под Тверью был неделю назад.

— Совпадение, ваше благородие. В архиве всё совпадение. Тут сорок тысяч дел, и все друг на друга похожи.

— А кто ещё в последнее время спрашивал про Алгачинск?

Цвирко открыл рот. Закрыл. И в эту секунду наверху, на лестнице, застучали лёгкие быстрые шаги.

Дверь распахнулась. В подвал вошёл господин, чья безупречная одежда резко выделялась среди пыльных стеллажей.

Высокий, стройный, в безупречном синем вицмундире Министерства внутренних дел, с серебряными висками и неожиданно молодыми глазами. Ему можно было дать и сорок пять, и шестьдесят. От него пахло дорогим одеколоном и едва заметно — табаком. Цвирко сложился пополам так стремительно, что хрустнула спина.

— Не вставайте, ротмистр, умоляю. — Голос у вошедшего был мягкий, бархатный, как у драматического чтеца на благотворительном вечере. — Штейнгель. Евгений Карлович. Сергей Андреевич, думаю, вас предупредил, что я буду надоедать. Вот, надоедаю. Простите, что не зашёл раньше. Дума отнимает всё время, каждый божий день запросы про Азефа. Господа депутаты хотят знать, сколько мы ему платили. Я им отвечаю, что меньше, чем они думают, и больше, чем он стоил. — Он рассмеялся коротко и легко. — Ну, и как наш призрак?

Он присел на край стола, небрежно, по-студенчески, и перебрал разложенные веером дела лёгкими длинными пальцами, не задерживаясь ни на одном. Пальцы были без перчаток. Ведерников поймал себя на том, что смотрит на них, ищет синюю краску, и не находит.

— Рига, Одесса, Казань… Интересная коллекция. — Штейнгель покачал головой. — Вы за три дня нашли то, чего у нас никто не заметил за три года. Право, мне стыдно за Департамент. Это ведь мы должны были увидеть, а не корпус. Кстати, примите соболезнования по поводу вашего кондуктора. Лукин, кажется? Ужасная история. Мне доложили утром. Тверская полиция, конечно, проспала, городового уже уволили. — Он вздохнул. — Старый служака, тридцать лет на дороге. Таких людей больше не делают.

— Тридцать два, ваше превосходительство, — сказал Ведерников.

— Что, простите?

— Тридцать два года на дороге.

— А. Да. — Штейнгель посмотрел на него внимательно и ласково, как смотрят на способного, но излишне старательного ученика. — Вы точный человек, ротмистр. Это хорошо. Это редкость. Позвольте же старику, на правах точного человека, дать вам совет.

Он подался вперёд, и голос его стал тише, доверительнее.

— Не увлекайтесь театром. Актёры, грим, неуловимый призрак, который является в разных лицах… Это для газетчиков. «Петербургский листок» за такое дал бы вам три рубля за строчку. А за всеми этими налётами стоит Боевая организация эсеров, я в этом глубоко убеждён. После Азефа у них нет денег, нет людей и нет доверия друг к другу. Им нужны средства. И им нужны наши списки, чтобы вычистить своих. А в пакете, который вёз ваш бедный кондуктор, как раз и были… впрочем, это не важно. Ищите там. Я дам вам адреса московских явок, у меня свежие, от верного человека.

Он поднялся, одёрнул вицмундир, и уже в дверях, будто вспомнив, обернулся:

— А Хлестакова из Вышнего Волочка оставьте судебному следователю. Пусть порадуется мальчик. Молодым нужно с чего-то начинать.

Он пожал Ведерникову руку крепко и сухо и ушёл, насвистывая что-то из «Пиковой дамы». Лёгкие шаги простучали по лестнице, хлопнула дверь, и только тогда Цвирко разогнулся. Старик побелел.

Ведерников не двигался. Панкратов ждал, пока он заговорит. За стеллажами мерно капала вода.

— Донесение в корпус я отправил позавчера, — сказал наконец Ведерников. — О том, что налётчик наговорил свидетелю, там нет ни слова. Я написал только про усы и клей.

— Так точно, ваше благородие. Сам относил. Сам запечатывал.

— Полковнику я про «Ревизора» тоже не говорил. А протокол допроса Сыромятникова лежит у Оболенцева в Твери. В несгораемом шкафу. Он мне говорил, что даже прокурору его ещё не посылал.

Ведерников посмотрел на свою правую ладонь. На ней ещё оставалось сухое тепло чужого рукопожатия.

— Так откуда же, Панкратов, его превосходительство знает про Хлестакова?

Панкратов не ответил. Ответа у него не было. Зато ответ, кажется, был у Цвирко. Старик стоял у стеллажа, смотрел на дверь, через которую ушёл Штейнгель, и мелко крестился, раз за разом, торопливо, по-католически, слева направо.

Глава 5. Хитровка

Адреса московских явок Штейнгель прислал на следующий день, с курьером, в конверте с грифом «Совершенно доверительно». Четыре адреса, четыре фамилии, аккуратный почерк писаря. Глинский прочёл список, хмыкнул и сказал:

— Поезжай. Проверь. Не проверишь, он спросит, почему. А мне отвечать нечем.

Решение приняли во вторник вечером, за закрытыми дверями кабинета полковника. В среду утром Ведерников и Панкратов уже вышли из курьерского поезда на платформу Николаевского вокзала в Москве. Москва после Петербурга оглушала. Здесь всё казалось громче и теснее. Извозчики не просили, а требовали. Торговки не предлагали, а хватали за рукав. Церковные колокола звонили вразнобой, перекрывая уличный гомон.

По первому адресу, на Малой Бронной, жил студент-медик Гольдберг. Вернее, жил до понедельника, когда съехал, не заплатив за последнюю неделю, и квартирная хозяйка, рыхлая вдова с папильотками, долго рассказывала Панкратову, какой он был тихий и вежливый молодой человек и как она теперь будет судиться. По второму адресу, на Пресне, стоял заколоченный дом. По третьему, в Замоскворечье, жила бедная учительница музыки, которая так испугалась жандармского мундира, что уронила со стола метроном. Никаких явок у неё не было и быть не могло. По четвёртому адресу, в Сокольниках, адреса не оказалось вовсе. Улица кончалась на номере двенадцатом, а в списке стоял девятнадцатый.

— Свежие, — сказал Панкратов, когда они вышли к трамвайной остановке. — От верного человека.

— Свежие, — согласился Ведерников. — Кто-то их проверил до нас. Или нам их нарочно дали протухшими.

Он записал всё в книжку, коротко, для рапорта. Рапорт Глинскому, рапорт Штейнгелю — всё как положено. Пусть видят, что ротмистр Ведерников исправно ищет эсеров.

Письмо от Оболенцева пришло на имя артельщика Семёнова, до востребования, на почтамт на Мясницкой. Так договорились ещё в Твери, ночью, в гостинице «Париж», и обоим было неловко от этой договорённости. Два служивых человека, с присягой и с жалованьем, сговаривались по-заговорщицки, как гимназисты, которые прячут от инспектора папиросы. Ведерников, получая письмо, предъявил паспорт артельщика Семёнова, который ему за полчаса справил в Петербурге знакомый чиновник паспортного стола. Барышня в окошке посмотрела на паспорт, потом на его плечи, потом снова на паспорт и ничего не сказала. Москва видала всякое.

Почерк следователя был мелким, с заметным наклоном влево. Строки теснились одна к другой.

«Григорий Петрович!

В Вышнем Волочке один театр, летний, при купеческом саде Сутугина. Владелец хранит афиши за двадцать лет, держит их в сундуке под кроватью и гордится этим больше, чем собственными детьми. «Ревизор» давали дважды, в 1894 и 1898 годах. В первом случае Хлестакова играл некто Беловерский, умер от чахотки в девятьсот первом году, похоронен там же, я видел могилу. Во втором случае играл С. Кривошеин, девятнадцати лет, сын мещанина из Ржева.

Владелец помнит его хорошо. Говорит, талант был необыкновенный, только играть он себя не умел. Выходил на сцену и становился тем, кого играл. Причём не на вечер, а на весь сезон. Пока шёл «Ревизор», он и в трактире был Хлестаковым, занимал у всех деньги и врал про Пушкина, и соседи по комнатам пугались, потому что не понимали, где кончается сцена. Потом давали «Грозу», и он целый месяц ходил тихий, богомольный, говорил на «о», как Тихон, и даже, говорят, бросил пить. После сезона уехал в Москву. Больше о нём в Волочке не слышали.

Владелец показал мне афишу. Фамилия Кривошеина набрана мелко, в самом низу, а сверху, крупно, напечатан какой-то заезжий трагик. Я эту афишу у него купил за три рубля. За афишу он торговался до последней копейки.

Запрос в Ржев, в мещанскую управу, я отправил от себя, частным письмом, на имя тамошнего письмоводителя, с которым учился в гимназии. Казённый запрос шёл бы месяц и прошёл бы через десять рук. Частное письмо прочтёт один человек.

Ваш А. О.»

И ниже, другими чернилами, будто дописано ночью и в сильном волнении:

«Протокол допроса Сыромятникова на месте. Несгораемый шкаф никто не открывал, я проверял нитку. Но позавчера в моё отсутствие в камеру заходил господин в сером и спрашивал секретаря, когда я вернусь. Секретарь у меня преданный, любит меня как родного и потому рассказал господину всё. В том числе содержание допроса, которое он, оказывается, слушал из-за двери. Секретаря я уволил. Думаю, это отвечает на ваш вопрос о Хлестакове.

Мальчик у меня. Живёт в моей квартире, спит на диване в кабинете и ест за троих. Квартирная хозяйка считает, что это мой незаконный сын, и смотрит на меня с уважением».

Ведерников сжёг письмо в пепельнице прямо на почтамте, под строгим взглядом дамы в трауре, которая решила, что он жжёт любовное, и поджала губы. Пусть думает.

Теперь было понятно, откуда Штейнгель знал про Хлестакова. Оставалось другое недоумение. Вице-директору Департамента полиции довольно было взять перо и запросить копию протокола служебным порядком. Через неделю копия лежала бы у него на столе. Он предпочёл послать соглядатая в серых перчатках в камеру тверского следователя.

Значит, ему было нужно, чтобы о запросе никто не знал. Ни следователь, ни прокурор, ни корпус. И получить ответ прежде, чем Ведерников доберётся из Твери до Петербурга.

Он вышел на Мясницкую. Мимо прогрохотал трамвай, весь облепленный мальчишками. Где-то на Лубянке пробило полдень.

— Ну что, ваше благородие? — спросил Панкратов, который ждал его у дверей, прислонившись к фонарю и лузгая семечки, как и положено артельщику.

— Пиши в книжку, Панкратов. Кривошеин. Семён. Из Ржева. Тридцати лет.

— А это кто?

— Хлестаков, — сказал Ведерников. — Пошли на Хитровку.

Хитровский рынок раскинулся неподалёку от стен Китай-города, заполняя прилегающие переулки. Днём тут торговали тухлой селёдкой, перешитыми шинелями, краденными сапогами и собственными руками. Наниматели ходили между рядами и выбирали работников, как лошадей, щупали плечи, заглядывали в рот. Ночью торговали всем остальным. Ночлежные дома стояли так тесно, что верёвки с бельём перетягивали через переулки из окна в окно, и бельё это никогда не высыхало. Над всем рынком висел тяжёлый пар от котлов, в которых бабы-торговки варили «собачью радость»: требуху, обрезки, кости, всё, что не взяли бы в приличную лавку. Пар пах так, что непривычный человек хватался за горло.

Ведерников шёл сюда в чужом пиджаке с протёртыми локтями, в картузе с треснувшим козырьком, и всё равно чувствовал себя голым. Он знал, что на Хитровке смотрят не на одежду, а на плечи, на походку, на то, как человек держит руки, когда их некуда деть. Плечи у него были офицерские, развёрнутые двадцатью годами строя. Это не исправишь ни пиджаком, ни картузом.

Зато Панкратов был тут своим. Он шёл впереди, сутулясь, в оборванном армяке, с мешком через плечо, ступая тяжело, словно каждый шаг давался ему с трудом. С ним здоровались. Беззубая торговка с лотком кричала: «Кузьма Лукич, родимый, живой!», и он кивал ей, как кивают старой знакомой. В девяностых он прослужил тут четыре года городовым, и Хитровка помнила его тем странным уважением, каким помнят строгого, но честного учителя. Бил он редко, но всегда за дело. И никогда не брал.

— Шибко не глядите по сторонам, ваше благородие, — сказал он вполголоса, не оборачиваясь. — Тут не любят, когда глядят.

— А куда глядеть?

— Под ноги. Тут под ногами самое интересное.

Под ногами было и впрямь интересно. Ведерников переступил через спящего пьяного, затем через другого, не то спящего, не то мёртвого, и наконец через лужу, в которой что-то шевелилось. Из подворотни выглянул мальчишка лет десяти, с глазами старика, внимательно оглядел ротмистра с картуза до сапог и свистнул. Свист подхватили где-то дальше, потом ещё дальше, и Ведерников понял, что о нём уже знают на другом конце рынка.

— Это про меня?

— Про вас, ваше благородие. «Фараон идёт». — Панкратов вздохнул. — Я ж говорил, плечи.

У входа в Свиньинский переулок к ним прилип человек. Невысокий, в рваной поддёвке, с подбитым глазом. Шёл шагах в десяти позади, останавливался, когда останавливались они, и делал вид, что разглядывает развал со старыми калошами. Ведерников заметил его у третьего поворота. Панкратов, судя по всему, заметил раньше.

— Ваше благородие, постойте тут минуточку. Вот у этой бабы пирожок купите.

Ведерников купил пирожок с ливером. От запаха пропал аппетит. Когда он обернулся, Панкратов уже стоял в подворотне, вплотную к человеку в поддёвке, и говорил ему что-то тихо и ласково, держа за ухо. Человек в поддёвке стоял на цыпочках и мелко кивал. Через минуту Панкратов отпустил ухо, и человек исчез так быстро, будто его и не было.

— Кто это?

— Сенька Косой. Мелкая шпана, ваше благородие. Ему велели посмотреть, к кому мы идём. Полтинник дали.

— Кто велел?

— Он не знает. Барин какой-то, через третьи руки. — Панкратов вытер пальцы о штаны. — Я ему сказал, что если он ещё раз за нами пойдёт, я его в Яузу брошу, как в девяносто шестом году. Он помнит.

— А в девяносто шестом ты его бросил?

— Не его, ваше благородие. Брата. Брат выплыл. — Панкратов подумал и добавил: — Не сразу.

Хромой Павел сидел в подвале под вывеской «Починка зонтов». Зонтов там никто никогда не чинил. В подвале было на удивление чисто, пахло воском и лампадным маслом, в углу теплилась лампадка перед тёмной иконой Николы Угодника. Сам Павел был маленький, чистенький, с аккуратной седой бородкой и протезом вместо левой ноги, и походил скорее на церковного старосту, чем на первого скупщика краденого в Москве. Ногу ему оторвало ещё под Плевной, о чём он охотно рассказывал. Что было потом, между Плевной и подвалом, он не рассказывал никому.

Увидев Панкратова, он не удивился. Увидев Ведерникова, вздохнул, тяжело и сокрушённо.

— Зря вы, Кузьма Лукич, барина с собой привели, — сказал он ласково. — От него жандармом за версту пахнет. Сенька, поди, уже полрынка оповестил. Садитесь, ваше благородие, чего уж теперь. Чаю?

— Нет, — сказал Ведерников.

— И правильно. — Павел улыбнулся. — У меня чай плохой. Я его для гостей держу, которые надолго.

Разговор вёл Панкратов, неторопливо, обстоятельно, с длинными отступлениями про общих знакомых, которые померли, сели или вышли в люди. Ванька Хрящ помер от горячки. Митрофан, который держал «Пересыльный», вышел в купцы второй гильдии и теперь жертвует на храм. Мадам Шульц, у которой были девочки на Солянке, уехала в Ниццу и, говорят, вышла

там за графа. Павел слушал, кивал, вставлял словечко, и было видно, что эта неторопливость ему приятна, что он её ценит, как ценят хорошее вино.

Ведерников молчал и смотрел на руки скупщика. Руки лежали на столе спокойно, сложенные одна на другую. Они начали двигаться, только когда Панкратов назвал номера.

Главной зацепкой оставались номера кредитных билетов. Казённая палата вела строгий учёт, и номера новеньких сторублёвых кредитных билетов из тверского вагона были записаны сериями. Список разослали по банкам, по меняльным конторам, по казначействам. Банки молчали. Конторы молчали. А на Хитровке списков не читали. Зато здесь знали всех, у кого появились подозрительно чистые деньги.

Павел молчал. Сухие белые пальцы постукивали по столу.

— Дорогой это вопрос, Кузьма Лукич, — сказал он.

Торговались недолго и вежливо. Торг закончился двумя сотнями рублей, которые Ведерников выложил из собственного кармана. Глинский на агентурные расходы дал полторы сотни, а остальное ротмистр взял из жалованья и с тоской подумал, что за квартиру на Кирочной в этом месяце платить будет нечем.

— Сторублёвки, — сказал Павел, пряча деньги куда-то под протез, — новенькие, хрустят. Меняют их в «Каторге», по четвергам, за семьдесят копеек рубль. Дёшево меняют, ваше благородие. Очень дёшево. За такие деньги я и то по восемьдесят пять даю, а я человек жадный, вам всякий скажет. А кто дёшево меняет, тому деньги не нужны. Ему нужно, чтоб их видели.

— Кто меняет?

— Сами посмотрите. В четверг, после десяти. Только смотреть не вам, а Кузьме Лукичу. Вас там с порога узнают. Это вам за двести рублей. А теперь даром.

Ведерников, уже поднимавшийся, снова сел. Павел тоже встал, протез скрипнул, и старик, наклонившись через стол, взял ротмистра за рукав. Легко, почти нежно, двумя пальцами.

— Того, кого вы ищете, тут знают. Только не как Варнака. Это слово сибирское, тут его не говорят. Тут его зовут Барин. Он раз в три года здесь появляется, а то и реже. Появится, наймёт людей, заплатит щедро, по-царски, и уйдёт. А после него, ваше благородие, кого-нибудь находят в Яузе. Всегда находят. И всегда не того, кого ждут. Ждут, что найдут того, кто проболтался. А находят того, кто молчал.

— Почему?

— А почём я знаю? — Павел пожал плечами. — Может, у него так заведено. Может, он молчунов не любит. Может, Бог его знает. Я человек тёмный.

— Он знает, что я здесь?

Павел смотрел на него снизу вверх, и в его светлых, выцветших глазах Ведерников увидел страх. Настоящий стариковский страх, тот, что не спрячешь ни за какой бородкой, ни за какой лампадкой.

— Он вам поклон передать велел, — сказал скупщик тихо. — Вчера вечером человек приходил. Сказал: придёт к тебе жандарм из Питера, ротмистр, с ним Кузьма Лукич. Передай поклон. И скажи, что «Каторгу» ему покажи, я разрешаю.

Он отпустил рукав.

— Вчера вечером, ваше благородие. Вас ещё и в Москве не было.

Они вышли на свет. Над Хитровкой висел пар, гудел рынок, кто-то орал, кто-то пел. Ведерников стоял посреди переулка и смотрел на кусок неба между крышами, серый и низкий.

— Кузьма Лукич, — сказал он, непривычно обратившись к Панкратову по имени-отчеству. — Кто знал, что мы едем в Москву?

— Вы, я и господин полковник, ваше благородие.

— А кто знал, что мы пойдём к Павлу?

Панкратов молчал долго.

— Никто, — сказал он наконец. — Я сам до сегодняшнего утра не знал. Я про Павла вспомнил, когда мы из Сокольников ехали.

— Значит, он знал раньше, чем ты вспомнил.

Панкратов снял картуз, вытер лоб рукавом и снова надел. Панкратов смотрел растерянно, точно привычный порядок вещей перестал действовать.

— Это значит, ваше благородие, что он нас не ловит, — сказал он медленно. — Он нас ведёт.

— Да, — сказал Ведерников. — И до четверга у нас одни сутки. Пойдём, Кузьма Лукич. Надо найти, где тут кормят, чтобы не отравиться. А потом в управление, просить людей.

Кормили, по уверению Панкратова, в трактире у Ильинских ворот, в полуподвале, где половые носили белые рубахи навыпуск и полотенце через плечо. Трактир звался «Ростов», хотя к Ростову никакого отношения не имел. Хозяин был из Ярославля, и Ведерников, услышав это, впервые за день улыбнулся. Земляк. Окающий, круглый, с лицом, похожим на пасхальный кулич.

Взяли щей, гречневой каши с салом и по стакану чаю. Панкратов ел молча и сосредоточенно, как работал. Ложку держал низко, хлеб подставлял снизу, чтоб не капнуть. Ведерников смотрел на него и думал, что за все годы службы бок о бок так и не узнал о своём унтере почти ничего. Знал, сколько тот выпивает на Пасху. Знал, что тот не играет в карты. Знал, как Кузьма Лукич бьёт: коротко, без замаха, снизу. Больше не знал ничего.

— Кузьма Лукич, а отец твой где служил?

Панкратов отложил ложку, будто его спросили о деле.

— В Твери, ваше благородие. При губернском жандармском управлении. Потом в Хиву ходил, с Кауфманом, в семьдесят третьем. Вернулся хромой и с медалью. Хромоту, говорил, в песках нажил, а медаль ему в Ташкенте дали. Он медаль эту всегда носил, даже в бане. Мать ругалась.

— Живой?

— Помер, ваше благородие. В девяностом. Я тогда только в Москву перевёлся. Приехал на похороны, а он лежит в мундире и с медалью, и мать ему руки в белые перчатки обрядила. Я, ваше благородие, на всю жизнь эти перчатки запомнил. Он перчаток сроду не носил.

Он снова взял ложку, доел, вытер миску хлебом и сказал, не поднимая глаз:

— Он мне так говорил: Кузьма, служба, она как кобыла. Кто её любит, того она возит. А кто её боится, того она лягает. Вот я, значит, и любил.

Ведерников промолчал. Говорить тут было нечего, и Панкратов этого не ждал.

Половой принёс чай, поставил на стол сахар в бумажке и задержался чуть дольше, чем надо. Молодой, белобрысый, с прыщом на подбородке. Ведерников поднял на него глаза. Половой улыбнулся, поклонился и ушёл за стойку. Он шепнул что-то хозяину. Тот посмотрел в их сторону и тоже улыбнулся.

— Тоже про плечи? — спросил Ведерников.

— Нет, ваше благородие. Это он вас за купца принял. Говорит хозяину, что вы из Ярославля. По говору.

Ведерников-то полагал, что ярославское «о» вытравил из себя ещё в кадетском корпусе, вместе с привычкой креститься на каждую церковь. Но стоило устать — и родной выговор возвращался.

— Пусть принимает, — сказал он. — Купцу легче.

Он достал книжку и при свете керосиновой лампы, под грохот посуды и пьяное пение из дальнего угла, стал набрасывать рапорт. Глинскому писал правду, коротко и без выводов: четыре адреса, все пустые, на Хитровке есть след, четверг. Штейнгелю писал то же самое, только слово «след» заменил словом «слух». Подумал и вычеркнул «четверг». Потом вычерк-

нул весь второй рапорт и написал заново, ещё короче. Осталось три строчки — отчёт усердного ротмистра, который ничего не нашёл.

— Вы ему не верите, ваше благородие? — спросил Панкратов, глядя, как он вычёркивает.

— Кому?

— Да тому, кому вы пишете.

— Я никому не верю, Кузьма Лукич. Работа такая.

— А мне?

Ведерников поднял голову. Панкратов смотрел на него спокойно, без обиды, и ждал ответа так же, как ждал бы приказа.

— Тебе верю, — сказал Ведерников. — Ты мне в Твери чай носил, когда я три ночи не спал. Кто чай носит, тот не продаст.

— Это вы, ваше благородие, зря, — серьёзно ответил Панкратов. — Продают как раз те, кто чай носит. Других-то к вам и не пустят.

Он допил свой стакан, перевернул его вверх дном на блюдце, по-старинному, и поднялся.

— Пойдёмте в управление, ваше благородие. Людей там, конечно, не дадут. Но попросить надо, чтоб потом не говорили, что не просили.

Глава 6. Засада

Московское губернское жандармское управление помещалось в старом барском особняке с колоннами и встречало приезжих из Петербурга так, как старая московская барыня встречает петербургскую родню: с улыбкой, с чаем и с камнем за пазухой.

Начальник управления, генерал-майор с пышными подусниками, принял Ведерникова в кабинете, где пахло вишнёвой наливкой, и битых полчаса рассказывал, какие у него в Москве замечательные люди, как они перегружены работой и как им совершенно некого дать. Потом позвонил в колокольчик и велел позвать поручика Лебедева.

— Лучший мой офицер, — сказал он, когда поручик вошёл и щёлкнул каблуками. — От сердца отрываю.

Отрывал он, судя по лицу, лучших лошадей на чужую свадьбу. Поручик Лебедев был молод, румян, пухл, с маленькими белыми руками и такими сияющими глазами, что Ведерникову стало его заранее жаль. Вместе с поручиком ротмистру выделили шестерых нижних чинов. Двое из них, как выяснилось к вечеру, были пьяны с утра, а третий оказался глуховат на левое ухо.

— Ничего, ваше благородие, — сказал Панкратов, оглядев войско. — На Шипке и с меньшим стояли.

— Ты на Шипке не был.

— Не был. А дед мой был. Он рассказывал.

Весь четверг Ведерников готовился. С каждым часом предстоящее дело нравилось ему всё меньше.

План был прост: чем меньше в нём сложностей, тем меньше возможностей ошибиться. Панкратов идёт в «Каторгу» один, в армяке, с мешком, и сидит у стойки, пока не придёт меняла. Пришёл меняла, Панкратов выходит на крыльцо и сморкается. Через четверть часа в подвал спускается Ведерников, смотрит, кто меняет и, главное, кто смотрит на менялу. Двое переодетых солдат стерегут чёрный ход, который ведёт во двор и дальше, проходными дворами, к Яузе. Поручик Лебедев с четырьмя нижними чинами, в мундирах, сидит в задней комнате булочной Филиппова через площадь и ждёт сигнала: два свистка. Если понадобится официальный арест, по всей форме, с протоколом.

Лебедев выслушал план, сияя, и спросил, можно ли ему тоже переодеться и пойти в подвал. Он прочёл все выпуски «Ната Пинкертона» и знает, как гримироваться.

— Нет, — сказал Ведерников.

— Но, господин ротмистр, я бы мог…

— Поручик. — Ведерников посмотрел на него, и поручик замолчал. — Там, куда вы хотите пойти, позавчера одному извозчику отрезали уши за то, что он не так посмотрел. Вы будете сидеть в булочной. И ни на шаг из неё не выйдете, пока не услышите два свистка. Что бы ни случилось. Хоть пожар. Понятно?

— Так точно, господин ротмистр, — сказал Лебедев и покраснел до слёз.

Потом, вспоминая этот разговор, Ведерников думал, что сам всё и накаркал.

В четверг днём Панкратов снова повёл его на Хитровку.

Не ту, которую Ведерников видел накануне, с лампадкой у Павла и вонью из подвалов. Сонную, полуденную. Днём Хитровка дремала и казалась почти безобидной. На площади у ночлежного дома Ярошенко торговки варили в котлах «собачью радость», рубец с требухой, и продавали её с ножа по копейке за кусок. Нищие сидели вдоль стены рядком, грелись на солнце и делили выручку за утро. Под навесом у длинного серого ночлежного дома, прозванного «Утюгом», спали вповалку крючники, подложив под головы кулаки. Мальчишки играли в бабки. Беззубая старуха продавала с лотка ворованные носовые платки, по три копейки, и божилась, что из Голландии.

Панкратов, сутулясь, шёл впереди в армяке, и с ним здоровались. Не все. Но многие. Кивали из подворотен, окликали с лавочек. Старуха с платками всплеснула руками и закричала: «Кузя! Живой! А говорили, тебя в Питер забрали, в генералы!» Панкратов поцеловал её в морщинистую щёку и сказал, что в генералы не взяли, ростом не вышел.

— Это Матрёна Сычиха, — сказал он Ведерникову, когда они отошли. — В девяностых держала на Свиньинском притон. Девок. Я её два раза брал. Она мне потом, когда я с лихорадкой лежал, бульон носила. Куриный. Три недели носила, каждый день. Говорила: ты, Кузя, хоть и фараон, а не злой. Злых фараонов на Хитровке не любят, их режут. А добрых жалеют. Жалеют и всё равно режут, но не так быстро.

Он показал Ведерникову всё. Проходные дворы, по которым можно было уйти с площади к Яузе, не выходя на улицу. Подвалы, которые соединялись друг с другом пробитыми в стенах лазами, так что человек, вошедший в «Каторгу», мог через десять минут вынырнуть из-под земли на Подкопаевском, в двухстах шагах от того места, где его ждали. Крышу «Утюга», по которой можно было пробежать над целым кварталом. Чёрный ход «Каторги», о котором знала полиция, и ещё один, о котором полиция не знала, за ларём с углём в дальнем углу подвала.

— Мы его в девяносто шестом нашли, — сказал Панкратов. — Случайно. Одного фартового загнали в подвал, а он пропал, как в воду. Мы ларь отодвинули, а там дыра. Пристав велел заложить. Заложили. А через месяц опять открыли, не мы, а они. И так оно с тех пор: мы закладываем, они открывают. Хитровка, ваше благородие, как пруд с тиной. Ты в одном месте разгребёшь, а в другом уже затянуло.

Ведерников смотрел, запоминал, считал. Шесть выходов из подвала. Две лестницы. Окно в уборной, достаточно широкое для человека. Ларь с углём. Ему нужно было вдвое больше людей, чем дал генерал. Втрое. Он это понимал, и Панкратов это понимал, и оба молчали.

У ночлежки Ярошенко, на лавочке, сидел старик. Маленький, лысый, с аккуратной седой бородкой, в чистой ситцевой рубахе и в очках со шнурком, он был похож на сельского дьячка или на приказчика из хорошей лавки на покое. Он читал «Московский листок», водя по строчкам пальцем. Увидев Панкратова, он сложил газету, снял очки и сказал тонким, почти девичьим голосом:

— Кузьма Лукич. А я и не чаял.

— Здравствуй, Кузьмич, — сказал Панкратов и сел рядом. — Тёзка мой, — пояснил он Ведерникову. — Кузьма Кузьмич Блинов. Лучший карманник Москвы. Был.

— Был, — согласился старик. — Пальцы не те. Ревматизм. Нынче я, ваше благородие, — он посмотрел на Ведерникова поверх очков, сразу угадав в нём начальство, — нынче я в отставке, как и вы, наверное, скоро будете. Учу молодых. За долю малую. Учить-то некого, вот беда. Нынче молодёжь не та. Нынче им бы сразу револьвер да в банк. А чтобы вот так, двумя пальцами, у купца из жилетки часы с цепочкой и чтобы купец ещё спасибо сказал, этого никто не хочет. Искусство пропадает.

Панкратов достал кисет, свернул себе и старику. Закурили и некоторое время сидели молча. Ведерников стоял рядом, прислонившись к стене, и смотрел на площадь.

— Ты, Кузьмич, про барина слыхал? — спросил Панкратов как бы между прочим.

Старик затянулся, выпустил дым колечком и проводил его глазами, пока оно не растаяло.

— Слыхал, — сказал он. — Тут все слыхали. Ходит тут с прошлой недели. Не сам. Сам он, говорят, не ходит. Посылает. Человек от него ходит, коренастый, с бритой головой, молчун. Людей нанимает. Платит золотом. Полуимпериалами. Где ты на Хитровке видал, чтобы золотом платили? Тут золото раз в год видят, на Пасху. А он платит.

— За что платит?

— А кто за что. Кому посидеть где велено. Кому покричать, когда скажут. Кому лампу опрокинуть. — Кузьмич снова надел очки. — Слепого Тимоху, гармониста, ты помнишь? Который у Ярошенко на лестнице играл? Ему полуимпериал дали. Он мне сам показывал, на зуб пробовал. Тимоха говорит: я, Кузьмич, слепой, а золото по звону знаю. Это, говорит, настоящее, царское.

— А Ефим? — спросил Ведерников. — Меняла?

Кузьмич посмотрел на него, и глаза у него за очками стали внимательные и печальные.

— Ефим Корявый, — сказал он. — Это, ваше благородие, дурак. Хороший человек, а дурак. Он долги отдать хотел. У него дочка в Сокольниках, в прислугах, её хозяин обижает, а Ефим хотел её выкупить, домой забрать. Ему говорят: посиди с жестянкой две недели по четвергам, поменяй бумажки, и будет тебе сто рублей. Он и сел. Я ему говорил: Ефим, не садись. Кто золотом платит, тот потом железом расплачивается. Не послушал.

Он затушил самокрутку о лавку, аккуратно, и спрятал окурок в жестяную коробочку из-под монпансье.

— Вы сегодня туда пойдёте, — сказал он. — Не ходите, Кузьма Лукич. Там вас ждут.

— Знаю, — сказал Панкратов.

— Знаешь, а идёшь.

— Служба, — сказал Панкратов.

Кузьмич покачал головой, сложил газету и встал. Ростом он едва доходил Панкратову до плеча.

— Служба, — повторил он. — Вот и у меня, Кузьма Лукич, сорок лет служба была. По чужим карманам. А теперь ревматизм. И ни пенсии, ни медали. — Он улыбнулся беззубо. — Вы, ваше благородие, у дальнего стола садиться будете, так от ларя с углём подальше садитесь. Оттуда дует.

И ушёл, маленький, чистенький, с газетой под мышкой, и через минуту пропал в толпе у котлов.

Ведерников проверил карманы. Всё было на месте: бумажник, часы, записная книжка, наган. Только в боковом кармане пиджака, где раньше ничего не было, лежал теперь полуимпериал, новенький, царский, с профилем государя.

— Это он вам показал, ваше благородие, — сказал Панкратов, глядя на монету. — Чтоб вы поняли, что у него пальцы ещё те. И что золото тут ходит не одно.

Ведерников подбросил монету на ладони.

— Это он мне сказал, кто платит, — ответил он. — Не словами. Словами тут, видно, нельзя.

Трактир «Каторга» занимал два этажа на углу рынка и никогда не закрывался. Наверху, в чистой половине, пили чай с баранками скупщики, мелкие подрядчики и богомольные старухи, которые за день натаскивали подаяние с папертей двадцати церквей и вечером пересчитывали его здесь, слюнявя пальцы. Внизу, в подвале со сводчатым потолком, пили всё, что горит. Там играли в «три листика», там продавали краденые часы и чужие паспорта, там можно было нанять человека на любое дело, от переноски шкафа до того, о чём не говорят вслух. Там и меняли деньги.

Ведерников сидел напротив, у окна чайной лавки, с потушенной лампой и остывшим стаканом, и смотрел на дверь трактира. За два часа в неё вошли сто сорок семь человек. Он следил за посетителями, стараясь отвлечься от слов Хромого Павла. «Вас ещё и в Москве не было». Ведерников решил ехать в Москву во вторник вечером. Решил в кабинете Глинского, при закрытых дверях. Об этом решении знали трое: он, полковник и Панкратов. И ещё любой, кому полковник был обязан докладывать.

Сто сорок восемь. Сто сорок девять. Женщина с ребёнком на руках. Двое пьяных в обнимку. Высокий человек в длинном пальто, не по сезону: на дворе стоял июнь. Сто пятьдесят.

Ведерников проводил длинное пальто взглядом, пока оно не скрылось в дверях, и запомнил эту фигуру.

В половине одиннадцатого Панкратов вышел на крыльцо, долго, со вкусом высморкался в кулак, вытер руку об армяк и вернулся внутрь.

Меняла пришёл.

Ведерников выждал четверть часа по часам, как договаривались. Это была самая длинная четверть часа в его жизни после той, в Мукдене, когда японцы обстреливали станцию, а он сидел в погребе и ждал, когда кончится. Потом встал, сунул руку в карман пиджака, где лежал наган, и пошёл через площадь, не торопясь, чуть покачиваясь, как подвыпивший конторщик, которого тянет догуляться.

В подвале стоял такой дым, что свет керосиновых ламп казался светом свечей в тумане. Пахло махоркой, кислой капустой, мокрой овчиной и ещё чем-то, сладким и гнилым, о чём Ведерников предпочёл не думать. Под сводами гудели голоса. Где-то в углу визгливо смеялась женщина. Над головами плыл дым, и в дыму, как утопленники, покачивались лица.

За дальним столом у стены сидел невзрачный мужичок с редкой бородёнкой, и перед ним стояла жестянка из-под ландрина, полная серебра. К нему подходили по одному, клали в жестянку серебро и уходили с чем-то, свёрнутым в трубочку. Мужичку было на вид лет пятьдесят, и он боялся. Ведерников видел это по тому, как он держал стакан: обеими руками, и всё равно расплёскивал содержимое.

Это был не Варнак. Это был человек, которого посадили здесь, чтобы его видели.

Ведерников заказал пива и облокотился на стойку и медленно обвёл взглядом подвал. Крючники с испитыми лицами, в рубахах, мокрых на спинах. Старуха с ребёнком, который спал у неё на коленях, под шум голосов. Два студента, забредшие сюда ради остроты ощущений и теперь горько о ней жалевшие. Слепой гармонист в углу, с бельмами на глазах, тянул что-то тоскливое, бесконечное. Панкратов стоял в трёх шагах, у той же стойки, пьяный и несчастный, со стаканом водки, к которому он не притронется до утра. Панкратов на него не взглянул. Хорошо.

И ещё один человек, возле лестницы, спиной к залу. Высокий, в длинном пальто. Тот самый, сто пятидесятый. Он ничего не пил и ни на кого не смотрел. Он слушал гармошку, чуть наклонив голову набок, как слушают музыку в опере, из ложи.

Ведерников поставил кружку и сделал три шага к лестнице.

В эту секунду слепой гармонист бросил гармошку и смахнул со стола лампу.

Керосин плеснул на пол и вспыхнул синим веером. Огонь побежал по мокрым опилкам, лизнул чью-то штанину, и человек закричал от боли. Кто-то закричал «пожар», кто-то «фараоны», и подвал разом превратился в одно живое, ворочающееся, ревущее тело. Опрокинулись столы. Звякнуло стекло. Ведерникова ударили локтем в скулу, так что в глазах вспыхнуло, кто-то пробежал по его ноге, кто-то вцепился ему в пиджак и тут же отпустил. Он пробивался к лестнице, сжимая в кармане наган, из которого здесь нельзя было стрелять. Выстрели он, и через минуту на полу лежало бы двадцать человек, затоптанных насмерть.

У лестницы человека в длинном пальто уже не было.

Ведерников обернулся. Панкратов, ругаясь страшными словами, сбивал огонь собственным армяком. Рукав армяка горел. За дальним столом невзрачный мужичок с бородёнкой медленно сползал на пол, прижимая к боку жестянку, и серебро сыпалось из неё, как из распоротого мешка, звенело, раскатывалось по полу, и никто, ни один человек на Хитровке, не нагнулся его подобрать.

Ведерников пробился к нему. Нож вошёл мужичку под лопатку по самую рукоять. Рукоять была простая, деревянная, обмотанная бечёвкой. Такие ножи продавались на рынке за пятиалтынный.

— Кто? — спросил Ведерников, наклоняясь. — Кто тебя посадил?

Мужичок смотрел на него удивлённо, будто не понимал, откуда этот человек взялся и зачем спрашивает.

— Барин… — сказал он. На губах у него пузырилась кровь. — Барин сказал… не тронут… Сказал, посидишь, Ефим, и не тронут…

Он вздохнул, коротко и обиженно, как ребёнок, и больше ничего не сказал.

Ведерников выскочил на улицу.

Площадь была полна людей, выбежавших из «Каторги», и все они разбегались в разные стороны, как тараканы от свечи. Из окон подвала валил дым. Где-то били в рельс. Из булочной высыпали солдаты, растерянные, без поручика, и один из них беспомощно свистел, не зная, кому и зачем.

А прямо на Ведерникова бежал поручик в голубом мундире, с револьвером в руке, в сдвинутой на затылок фуражке.

— Господин ротмистр! — крикнул он и на бегу козырнул. — Ушёл дворами, к Яузе! В пальто! Я по Подкопаевскому, вы по Хитровскому, перехватим у моста!

И пронёсся мимо, в тёмный переулок, лёгкий и быстрый, и стук его сапог стих за углом раньше, чем Ведерников успел сделать хоть шаг.

Он уже делал этот шаг, в сторону Хитровского переулка, когда понял.

Поручик Лебедев был румяный и пухлый, с маленькими белыми руками. А у этого пальцы были длинные, как у пианиста. Лебедев сидел в булочной и не мог выйти из неё, пока не услышит два свистка. А свистков не было. И козырнул этот поручик по-жандармски безупречно, ладонь ребром, локоть на уровне плеча. Лучше, чем козырял сам Ведерников.

Ведерников развернулся и бросился в Подкопаевский.

Переулок был пуст и тёмен. Фонарь не горел, его, кажется, вообще никогда тут не зажигали. Ведерников бежал по булыжнику, и булыжник был скользкий от помоев. Впереди, шагах в сорока, хлопнула калитка. Он рванул её на себя и влетел в двор.

Двор был колодцем. Четыре стены, четыре этажа, бельё на верёвках, мусорная куча. Пахло кошками и сырой известью. В дальнем углу, под аркой, что-то шевельнулось.

— Стой! — крикнул Ведерников, вытаскивая наган. — Стрелять буду!

Под аркой не ответили. Он пошёл к ней, медленно, держа наган перед собой. Под ногами хрустело битое стекло. Десять шагов. Пять. Под аркой было черно, хоть глаз выколи.

Удар пришёл сбоку, из-за мусорной кучи, а вовсе не из-под арки. Кто-то низкий, тяжёлый, широкий, как шкаф, врезался в него плечом, и Ведерников полетел на камни. Наган выбило из руки, он слышал, как тот звякнул где-то в темноте. На нём сидел человек. От нападавшего пахло луком, потом и дёгтем; в его руке что-то блеснуло.

Ведерников ударил снизу головой, в лицо. Хрустнуло. Человек охнул, но нож не выпустил. Ведерников поймал его запястье обеими руками, и они замерли, как два борца на ярмарке, и лезвие медленно, по вершку, опускалось к его горлу. Человек был сильнее. Намного сильнее. Ведерников видел над собой только тёмное пятно лица и слышал, как тот дышит сквозь сломанный нос, со свистом.

И тут во двор, грохоча сапогами, влетел Панкратов, с горелым рукавом, с поленом в руке, и заревел так, как ревел, наверное, на Хитровке в девяносто шестом году.

Человек скатился с Ведерникова одним движением, как кошка, и метнулся к стене. Там стояла поленница. Он взлетел по ней, тяжёлый, широкий, и на миг, когда он перебрасывал ногу через забор, его силуэт попал в полосу света из чьего-то окна. Коренастый. Бритый затылок. И на бритом затылке, наискось, белый шрам, как след от удара шашкой.

Потом он исчез. За забором прогрохотало, кто-то выругался, залаяла собака.

Панкратов помог ротмистру подняться.

— Живы, ваше благородие?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.